

10.335/  
1990/2

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1990

გამოცემა „წიგანობის საზოგადოების“.

## ლელა მნა

პირველი ნაწილი

ქართული „ანბანი“

პატარა მოთხრობებით, ლექსებით, აღწერებით  
და ჟღერით

ავტორი სიმონიძის ქეთევანი



შედგენილია

მკვლევარ-მკვლევარ-მკვლევარ

ოცნებისათვის გამოცემა. შავილი სუბიტი და  
აქვით.

ესი იმი ზედი, ელი სიმ ზედი.

ბიბლიოთეკა

საპრ-მეცხე. სკოლა 6. თბილისი, მთავრ. ქ. სკ. სკ. № 6.  
1912.

„ლიტერატურა“ გამომცემლობა, თბილისი, 1990 წელი, 2-ე ნომერი.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

#### ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 9 АПРЕЛЯ

- АННА КАЛАНДАДЗЕ. Стихи. Перевод Владимира Саришвили . . . . . 3
- ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Стихи. Перевод Олега Боброва . . . . . 4
- РЕЗО АМАШУКЕЛИ. Стихи. Перевод Владимира Саришвили . . . . . 5
- СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ. Стихи . . . . . 6
- ОКСАНА РОДИОНОВА-ХЕЛАЯ. Стихи . . . . . 7
- АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ. Стихи . . . . . 8
- ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Хранители Грааля. Роман. Окончание. Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе . . . . . 10
- МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ. Стихи. Перевод Натальи Аришиной . . . . . 83
- ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Мартовский петух. Роман. Перевод Элисбара Ананишвили 87

4

<b>ГЕНО КАЛАНДИА. Стихи. Перевод Марины Кудимовой</b>	130
<b>МЕРАБ АБАШИДЗЕ. Сказка о красоте. Повесть. Перевод Динары Кондахсазовой. Тост в честь Вольтера. Рассказ. Перевод Элеоноры Кавеладзе</b>	134

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
В. И. ЛЕНИНА

<b>СЕВЕРИАН МОСИДЗЕ. «Века уж дорисуют, видно...»</b>	191
---	-----

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

<b>РЭМ ДАВИДОВ. Из газовой камеры — в бессмертие</b>	201
--	-----

ИСКУССТВО

<b>ЭТЕРИ ГУГУШВИЛИ. Мужество и дерзновение.</b>	206
---	-----

КОНТАКТЫ

<b>МИХАИЛ ГИЖИМКРЕЛИ. Коммуникационная служба планеты.</b>	218
<b>ТУРКУБИИ ЧАМОКОВ. Свидетельство дружбы и братства</b>	223

\* На 1 стр. обложки: к 150-летию со дня рождения Иакоба Гогешашвили — репродукция обложки его книги «Дэда эна» («Родная речь»).



Анна КАЛАНДАДЗЕ

## Светлые крылья, сильные крылья...

Час полуночный ближе и ближе,  
В небе Господний луч не погас,  
Жизнь отдаете за Грузию, все, кто  
С пеньем,  
С молитвою  
Гибнет сейчас!

Близится время, время рассвета,  
Станут озерами  
Ливни кровавые,  
Жизнь отдаете за Грузию, все, кто  
Гибнет, пред Богом и Родиной правые...

Но за чертой —  
Воскрешенье из мертвых,  
Жизни источник —  
Само изобилие.  
Вороны, прочь!  
Мы расправили крылья,  
Светлые крылья,  
Сильные крылья!

Перевод Владимира САРИШВИЛИ

138.788

## Реквием

О, к Грузии любовь!  
Вы пали за нее, —  
Нет гибели почетней и отрадней.  
Вы к братьям возвратитесь вновь  
Тугой лозою виноградной.

Смертью смерть поправ,  
Не щадя себя,  
Сбросив груз оков,  
Вы огонь зажгли, —  
И костер борьбы  
Опалил врагов.

Посмотри вокруг,  
На вершины гор —  
Им не ведом страх.  
Но настанет миг —  
И тела врагов  
Превратятся в прах.

О, красавица!  
Берегли тебя  
Не для палачей,  
Вашей правды свет  
Уничтожил ложь,  
Мрак ночей.

Сестры, верьте мне, —  
Ваши боль и кровь  
Не пропали зря!  
Не дожди идут —  
Горем матерей  
Залита земля.

Капли крови той,  
Что легко пролить,  
Утоляя злость, —

Над Иберией  
В небесах горят  
Ожерельем звезд.

\* \* \*

Боже, знаешь ты,  
Ненавистен мне  
Сладостный напев.  
Я живу, пока  
В сердце говорит  
Праведный мой гнев.

Перевод Олега Боброва

Резо АМАШУКЕЛИ

На мясницком крюке  
Я повис тяжело, как зарезанный,  
Как страдалица-роза  
Руствели мой дух обволоок...  
Боже!  
Грех мой — тому,  
Кто в кровавую, буйную трапезу  
Неповинную Грузию  
Властным усиьем вовлек!  
Плач Иберии ввысь,  
К небесам потеплевшим возносится,  
Не цветением персика —  
Стонами полнится мир.  
Пробудились деревья...  
Откройте мне тайну, зачем они  
Налетели, стервятники,  
Справить кровавый свой пир?  
Или оцепененье,  
Бессилье мое позади уже,  
Или высохли слезы,  
Когда просветлела ты, ночь?!  
Тот, кто проклят судьбой,  
Не сотрет, не искупит проклятия,  
Для чего ж мне его  
Вплоть до самой могилы волочь?!  
Разве знаешь — кто был  
Настоящим, холодным изменником?!  
Или правду услышишь



Когда-нибудь? Верю с трудом...  
Нет, над словом моим  
Размышленья не надобно праздного...  
Знаю долю свою,  
Что мне мужество в сердце чужом?!  
Где пределы для лжи,  
Крючкотворства, пронырливых происков,  
Кто багрил эти мантии  
Кровью грузинской святой?:  
Разве рыцарь — палач?!  
Вспоминается братство воспетое,  
До небес вознесенное  
Нам недавней порой...  
Как молчать?: Что забыть?!  
Эти раны вовек не затянутся...  
Как простить, если брызжут  
Отравой и рубят плеча...  
Что слова, что стихи...  
Не поется, когда на коленях ты  
И когда над тобой  
Зависает топор палача.

Перевод Владимира САРИШВИЛИ

Сергей СЕРЕБРЯКОВ

## В университетском саду

Я видел это. Видел, видел  
и потому пришел сюда:  
событий тех невольный зритель  
их не забудет никогда.  
Любимый сад мой был запружен  
оцепеневшими людьми.  
Здесь каждый каждому был дружен,  
казался часом краткий миг —  
затем, что гордый дух Свободы  
кружился в небе над толпой,  
и позабыв свои невзгоды,  
горели болью все — одной.  
На этот раскаленный кратер,  
кипящий морем лавы гнев  
смотрела наша «Альма Матэр»,  
лицом от боли побелев.

Солдат-убийца не в ответе:  
ответить должен генерал.  
Но я со всей толпою вместе  
проклятье яростное слал  
ворвавшейся во тьме кромешной  
кровавой своре палачей,  
кромсавших женщин и детей,  
травивших газом их — безгрешных...  
Ночною кровью был замешан  
гнев, — жарче солнечных лучей.  
И кто-то крикнул: «Разбегайтесь!  
Сюда сейчас придут войска,  
Но прежде клятву мести дайте.  
Друзья, свобода далека!»  
Мы стали на колени, лица  
склонив к земле, — все, как во сне, —  
и трижды клятва: «Смерть убийцам!»  
здесь прозвучала в тишине.  
И мне казалось: чья-то жалость  
лилась от неба до земли,  
пока толпа не разбежалась,  
покуда танки не пошли.

9.04.89 г.

---

**ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ**

---

Оксана РОДИОНОВА-ХЕЛАЯ

**Памяти Мананы Мелкадзе,  
погибшей 9 апреля 1989 г.  
в Тбилиси**

Мано, взгляни — опять весна над Родиной встает,  
Мано, послушай соловья — он песнь тебе поет:  
О том, как Грузия скорбит о смерти дочерей,  
Как жизнь кипит, страна бурлит и с каждым днем сильней.





Мано, вставай, пошли домой — там мать устала ждать.  
 Сядь с нами, пригуби вина, мы будем отвечать  
 На все вопросы о бытѣ, о том, как жизнь идет,  
 О том, как помнит о тебе грузинский наш народ.

Мано, постой, не уходи — ты всем нам так нужна.  
 Ты — наша боль, на нас лежит за смерть твою вина,  
 Что не смогли мы защитить тебя от сапога,  
 Что ты не будешь с нами здесь теперь уж никогда.

Неправда, нет, ты будешь жить, ты в памяти людской  
 Навек останешься живой, красивой, молодой,  
 Как в тот весенний страшный день, в последний жизни день,  
 Когда на площади тебя накрыла смерти тень.



Александр КУДРЯВЦЕВ

## Реквием

Море силы копит и потопит  
 весь этот старый затхлый мир.

Галактион Табидзе

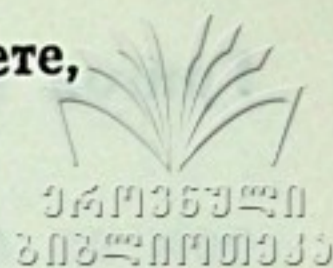
Перед Домом правительства ветер красные флаги полощет,  
 Словно кровь, на асфальте пылают живые цветы.  
 Перед Домом правительства черная, черная площадь,  
 Вознеслись над Землею до самого неба кресты.

В связи с годовщиной трагедии 9 апреля редакция получила обширную корреспонденцию от наших читателей, в которой оказалось немало стихов. Мы сочли целесообразным опубликовать два из них.

Автор первого стихотворения, Оксана Родионова-Хелая — сотрудница Тбилисского отделения научно-исследовательского электротехнического института. Писать начала недавно и печатается впервые.

Александр Кудрявцев — матрос I класса тралового флота, печатается в областных газетах Сахалина и Амурской области.

Дом правительства весь в заревом, удивительном свете,  
Только кровью народа напоена эта заря...  
Здесь убиты вчера, здесь расстреляны Грузии дети,  
Как российские — на Дворцовой Девятого января.



Нет, в душе ты не спрячешь ни боли, ни слез и ни крика...  
Всю больную страну сжало черное это кольцо...  
И над площадью плачет огромная черная скрипка,  
И какая-то женщина в черном руками закрыла лицо...

Слезы Грузии... Это святого страдания слезы.  
Мчит Арагви потоки этой страшной печали в Куру...  
И в России скорбят... Словно свечи, застыли березы,  
И качается плач на холодном весеннем ветру.

Чнатурса, Тбилиси, Ткибули, Ткварчели,  
Ваша боль неизживна, и горя вам не превозмочь...  
Скрыла черная ночь стены Светицховели,  
Молча древние фрески глядят в эту страшную ночь.

Перед Домом правительства ветер красные флаги полощет.  
Вы детишек своих приносите сюда на руках.  
Перед Домом правительства черная, черная площадь,  
Вся в цветах утопает, вся тонет в кровавых цветах.



# Хранители Грааля

РОМАН

Леван успел сделать не более десяти шагов, как Закара подбежал к нему и несколько секунд постоял рядом, не промолвив ни слова. Слезы в его глазах были красноречивее слов. После этого он быстро удалился.

Наступила ночь. Леван шел домой. Его вдруг охватило лихорадочное возбуждение. Нервы его были напряжены до предела. По дороге он взглянул на маленький дом, в котором жил Марджани. Несмотря на столь поздний час, Леван решил зайти к режиссеру.

— Простите меня ради Бога, что я тревожу вас в такое время, — сказал Леван возбужденно вышедшему ему навстречу хозяину дома.

— Будьте, как дома, — ответил режиссер.

— Мне бы хотелось играть на фортепьяно, ибо я не в силах более сдерживать то, что накопилось во мне.

— Пожалуйста, играйте, — сказал Марджани немного озадаченно.

Леван играл с воодушевлением, но не так, как тогда в зрелом возрасте перед Нориной. В ярости сконцентрированной волы сквозило рыдание. Он играл долго, затем внезапно прекочил и простился с хозяином дома, недоуменно глядевшим на гостя.

Леван шел домой, как лунатик. Он лег в постель, но не мог заснуть. Что делать? — спросил он себя несколько раз. Ответа он не находил.

Рано утром он отправил Норине телеграмму-молнию: «Умоляю Вас, оставайтесь ради всего святого в Геленджике».

---

Окончание. Начало см. в №№ 1, 2, 3.

## ПО СОЛНЕЧНОЙ ДОРОГЕ



Норина в смятении прочла телеграмму. Она не могла понять, что означала эта просьба Левана. Она быстро разыскала Авала. Он пробежал глазами телеграмму и помрачнел.

— Что случилось? — спросила Норина в страхе.

— Очевидно, в эти дни начнется восстание, — шепотом произнес Авала.

— Какое восстание?

— Восстание против большевистской власти.

Женщина побледнела.

— Вы знали хоть что-то об этом?

— Да. В тот раз, когда я по телеграфу вызвал Левана из Саирме, мне нужно было сообщить ему именно об этом. Вы ведь знаете, что он всегда идет навстречу опасности; и я хотел попросить его уехать на несколько месяцев из Грузии.

— И что же он вам ответил?

— Он решительно отказался. Он, мол, именно в такое чреватое опасностью время должен остаться на родине.

Норина напряженно думала.

— И теперь, кажется, — продолжал Авала, — он хочет оградить вас от опасности.

— Вот это мило! Но я все-таки поеду туда.

Норина была крайне возбуждена.

— Вы, наверное, увидите Левана, — робко начал Авала.

— Я еду к нему, — ответила женщина решительно.

— Как хорошо! — обрадовался Авала. — Вы — единственный человек, который может повлиять на моего друга.

— Вы так думаете? — спросила Норина двусмысленно.

— Да, — ответил, улыбаясь, Авала. — Через неделю я тоже буду в Тбилиси.

Затем Норина простилась с ним.

16 августа она уже была в Тбилиси. Мать и маленького Гоги она отослала в княжеский замок. Она остановилась у Коста, жена которого все еще была с детьми в Коджори. Коста ничего не знал о готовящемся восстании, и Норина поэтому не расспрашивала его

об этом. Она лишь хотела узнать у него хоть что-то о Леване и ждала, не будет ли в разговоре между прочим упомянуто его имя. Ей не пришлось долго ждать.

— Кстати, и Леван здесь, — вспомнил вдруг Коста. — Он недавно вернулся из Манглиси. Несколько дней он был необычайно возбужден и растерян, но вчера снова выглядел спокойным.

— Можно ему позвонить? — спросила Норина с нетерпением.

— Конечно. Сию минуту. — Коста подошел к телефону.

— Минутку! — сказала Норина. — Не говори ему, что я приехала.

Коста снял трубку. Норина погрузилась в молчание.

— Алло! Говорит Коста. Добрый день... Спасибо... Вам желаю того же...

— Хорошо... Вы не могли бы сегодня вечером зайти ко мне на чашку чая?.. Итак, в пять...

Половина четвертого. Норина и Коста продолжали разговор. Коста рассказывал об августовской жаре в Тбилиси и о том, как он спасался от нее. Норина только для вида поддерживала беседу, пытаясь скрыть свое возрастающее волнение. Время тянулось предательски медленно. Она то и дело нетерпеливо смотрела на свои ручные часы.

— Который час? — спросил Коста.

— Без четверти пять. — ответила Норина.

— Я выйду в город, чтобы купить что-нибудь к чаю, — сказал Коста и быстро вышел из дома.

Теперь Норина прислушивалась к малейшему шороху. Ожидание совершенно парализовало ее. Пять часов. Она прислонилась к столу, чтобы унять дрожь. Пять минут шестого. Ожидание становится невыносимым. Прошло еще несколько минут. Норина вся превратилась в слух. Вдруг она услышала стук. Она подбежала к двери и распахнула ее: вошел Леван. Норина с трудом держалась на ногах. Из последних сил она бросилась к нему. Он обнял ее. Они стояли молча, прильнув друг к другу, забыв о времени. Это были мгновения, отвоеванные у смерти, увековечившие себя.

— Ты! — горячо прошептал мужчина.

— Ты! — ответила женщина, тяжело дыша.

Слово, творящее мир, было наконец произнесено, то слово, что тогда в лесу еще не могло родиться. Напряжение, переданное тогда стволу дуба, разрядилось теперь в яркий свет. Любовь праздновала свое рождение, воплощаясь в эфирно осязаемом образе. Аромат женщины опьянил мужчину. Он воспринимал ее тело, как частицу солнца, вошедшую в его плоть. Она таяла, испытывая неземное блаженство.

— Ты! — снова прошептал он.

— Ты! — ответила она.

Другое слово не приходило им в голову. Вдруг послышался скрежет ключа в замке. Оба тут же пришли в себя. Но сердца их, охваченные священным волнением, продолжали бешено колотиться, когда вошел Коста.

— Ах, вы уже здесь, Леван? — воскликнул обрадованный хозяин дома и расцеловался с гостем.

Мужчины начали непринужденный разговор. Женщина стала накрывать на стол.

— Невозможная жара! — сказал Коста. — И как раз теперь приезжает Норина. Она, конечно, в любое время желанный гость...

— Но? — вставила Норина, чтобы скрыть свое волнение.

— И в самом деле, — обратился Леван к Норине, не дождавшись ответа Коста на ее вопрос, — что побудило вас столь внезапно покинуть Геленджик?

— Я почувствовала в последние дни подозрительную боль в печени, — спокойно ответила Норина. — Мне здесь нужно найти хорошего врача.

— Печень? — спросил Коста. — Это ничего. — Ты, наверное, не знаешь, что печень — орган тоски, как это Леван мне когда-то объяснил. Эту болезнь мы оба легко вылечим.

Норина залилась краской стыда и, потупив взор, украдкой взглянула на Левана. Коста и не подозревал, как чувствительно он задел свою невестку.

— Неужели печень — орган тоски? — спросила Норина, желая скрыть свое смущение.

— В грузинском языке «печень» и «бдение» выражаются одним словом, как впрочем и «желчь» и «ме-

ланхолия». У первобытных людей эти слова соприкасаются друг с другом, причем «бдение» указывает на «меланхолию», а «меланхолия» — на «бдение». Тоска, таким образом, должна находиться где-то между ними, а точнее — около печени.

— Странно, — прошептала Норина.

Теперь разговор принял спокойный характер.

Вечером все трое поднялись на Мтацминда, чтобы отдохнуть и поужинать там. Норина была здесь впервые. Замечтавшись, она окинула взором панораму сказочного города. Коста, увидев знакомого, отошел от них.

— Вы получили мою телеграмму? — спросил Леван.

— Да, — ответила Норина.

— И оставили без внимания мою просьбу?

— Да.

— Позвольте спросить, почему?

— Потому что я не могу оставить в беде моего дорогого друга.

— Наверное, вы показали телеграмму Авала? — спросил он, помолчав немного.

— Да, — подтвердила она.

— И он ее расшифровал вам?

— Именно так и было.

— Ну, хорошо, — сказал он и поглядел ее тонкую руку. — Опасность миновала. Вчера вечером я узнал, что восстание отменено.

— В самом деле?

— Да, мне сообщил это человек, которому я во всем доверяю.

— Как хорошо!

Они с радостью взглянули друг на друга.

На следующий день Леван сидел вечером у Норины. Коста вызвали на какое-то заседание. Почтальон принес последнее письмо Левана к Норине, которое он отослал из Манглиси 11 августа. Оно вернулось из Геленджика в Тбилиси.

— Мне хочется прочесть тебе это письмо, — сказал Леван. — Любящий испытывает какое-то особое удовольствие, читая возлюбленной собственноручно написанное письмо.

Они сидели плечом к плечу на диване. Он читал

вслух. Сначала строки из Эдды о великом вечном ясе-не Иггдрасиль, затем его собственные слова: «Хотя я родом и не из той страны, в которой возникла эта легенда, но я могу представить себе это вечно зеленое дерево: источники вокруг него не иссякают. Две птицы живут у ключа Урдр. Это лебеди. Я вижу, как они плывут, меланхолично-величественно. Олени щиплют листья ясеня. Я слышу одуряющий шорох листьев: «От той влаги роса по долинам земли». Пусть эта роса, милая Норина, освежит вас».

— Милый, — нежно произнесла Норина и прижалась к нему. — Та роса — это ты. Я полна тобой до краев.

— Ты! — и Леван впервые коснулся своими губами ее губ. В тот же миг в нем вспыхнуло пламя, которое для него всегда таило опасность. Оно было тем опаснее, что, хоть и медленно, но захватывало женщину, всю, без остатка. Она менялась на его глазах. В чертах ее лица стал проглядывать чарующий и вместе с тем страшный, темный и дикий образ всеженщины. Какая-то первобытная сила пробуждалась в недрах ее существа. Мужчина чувствовал себя во власти возрастающего чувства. Они уже подошли к той последней грани, за которой мужчина и женщина вспышкой молнии расплавляются друг в друге. Имел ли Леван право переступить эту грань? Он считал, что не имел. И не только потому, что был посвящен в хранители Священной Чаши, но и потому, что любил эту женщину глубоко и целомудренно, желая сохранить это чувство в чистоте. В огне, правда, но все же в чистоте. Любовь — предвкушение божественного плода, — думал он всегда. Но лишь предвкушение. Как исполнение желания она переходит в абсолютно половое, в котором бытие расщепляется. Хотя такая любовь и кончается чувственным наслаждением, но наслаждение это губит любящих своим опустошающим сладострастием. Нет, истинно любящий должен быть в состоянии уберечь то первое чувство, сохранить его, как неприкосновенное, как священное пламя. Тогда мгновение поистине станет частицей солнца. Это был опыт его души, опыт его крови. И вот теперь ему предстояло тяжелейшее испытание. Он собрался с духом. Готовность к самопожертвованию женщины тем временем возросла до всепоглощающей



силы. Еще миг — и мужчина подчинил бы ей свою волю. И тут он решил противопоставить появившейся немощи силу. Он вдруг почувствовал, что овладел собой. Бесконечным блаженством была бы та немощь, но неизмеримо божественно-сладостней была эта сила! Словно солнце, которое, согласно представлению древних египтян, само себя насиживает, так и он теперь оплодотворил свое «я». Мгновение любви было спасено.

Женщина в чаду упоения прижималась к мужчине. Нечеловеческих усилий стоило ему достижение неутоленной любви, но еще труднее было ей пребывать в этой любви. Распаленная внутренней страстью, она томилась в слепом, безысходном пламени. Словно горячее дыхание пустыни, страстно желала она утоления удушающей жажды. Но услада не являлась. Вожделенная немощь не наступала.

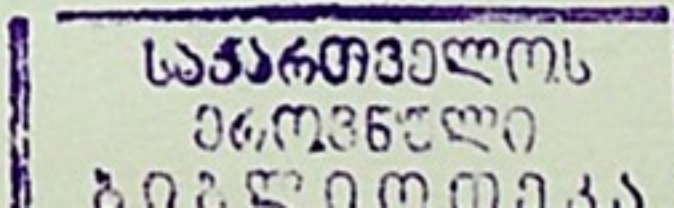
Тем изнурительнее была судорога. Ее большие, затуманенные глаза уподобились глазам менады, парализованной в душе, на зов которой не являлся бог дурмана. Иногда они глядели в пустоту, словно это были остекленелые глаза мертвой рыбы. Мужчина ужаснулся. Он ясно сознавал, что происходило с женщиной. Он ведь спас мгновение любви лишь для себя. Теперь же надо было спасти его и для любимой. И вот он исподволь стал направлять на нее сконцентрированную в нем солнечную энергию. Он гладил, ласкал, целовал ее, он нашептывал ей в ухо любовные слова, тихо, осторожно, но внятно. В словах этих был духовный заряд, но женщина вобрала их в себя как материальную субстанцию. Это было непривычно, ново и доставило усладу. Солнечная энергия, которую мужчина обрел в неутоленной любви, словно чувственный луч, вошла в женщину. Просветленная, она медленно приходила в себя. Как иссохшая глыба земли принимает струи дождя, так она приняла в себя целомудренный луч, порожденный любовью мужчины. Теперь она уже дышала, как напоянная влагой благоухающая земля. Что может сравниться с этим благоуханием? Опьянение любовью все еще сковывало ее чувства, но оно уже обрело другое свойство: оно стало окрыляющим, небесным. Всеженщина вдруг исчезла. Леван снова увидел перед собой Норину, но преображенную. Ей казалось, будто она несет в себе неведомый плод. Это было дитя любви, которое,

не родившись, растет в любящем как энергия творчества. Целомудренная любовь свершилась теперь и для нее.

— Изверг! — прошептала она и снова прислонилась к его плечу.

— Нет, всего лишь любящий мужчина, — ответил он, обнимая ее. Они постепенно разговорились. Он осторожными намеками рассказывал ей о таком виде любви. Он сказал, что может любить ее только так, ибо слишком сильно любит ее. Кроме того, на него, мол, возложена миссия, для выполнения которой ему нужно остаться целомудренным. В чем заключалась эта миссия, он ей не сообщил. В один прекрасный день, она, мол, сама об этом узнает. Норина не была любопытной и не стала расспрашивать его, молча, словно лежа в согретом солнцем источнике, слушая возлюбленного. Ей казалось, что она терялась в бесконечном и вновь обретала себя вблизи мужчины. Кто он? Муж, брат или друг? Все вместе и еще нечто другое, что больше мужа, брата и друга. Так кто же он все-таки? Она и не пыталась выяснить это: ведь она уже все знала о нем.

Так прошло несколько дней. Леван показывал ей каждый уголок Тбилиси, который и в жаркое время казался фантастическим городом. Знойная дымка, нависшая над ним, создавала впечатление, будто город горел, как при нашествии диких орд. Норина видела Тбилиси глазами возлюбленного. Когда жара становилась невыносимой, они вместе с Коста совершали вылазки в Коджори или Манглиси. Коста, конечно, чувствовал, что между Леваном и Нориной установились какие-то особые отношения, которые представляли собой нечто большее, чем дружба. Но мысль об обычном романе между ними не приходила ему в голову. В блаженстве и радости проходило время. Норина не раз напомнила своим гостеприимцам, что ей пора уже возвращаться в Саирме. Леван и Коста просили ее остаться «еще на один день», и она оставалась. Она чувствовала себя вновь рожденной в любви, она ощутила прилив новых, неведомых сил. В разговоре с Леваном она старалась быть сдержанной. Но чтобы хоть как-то выразить переполнявшие ее чувства, она начала писать ему письма, которые оставляла себе. «Со вчерашнего дня, — писала она, — я постоянно о чем-то думаю. Знаешь ли ты, ко-



гда в жизни женщины наступает звездный час? Во время беременности. Я представляю себе, что в это время четко фиксируется каждое слово, каждая мысль, малейшее движение души, ибо слово, мысль, движение принадлежат уже и тому дремлющему, живому плоду. И как тот плод, я ношу нашу любовь под сердцем — осторожно, смело, блаженно. Я закрываю глаза и думаю о тебе — я хочу быть лишь трепещущим листком в твоём дыхании». И в другом письме: «Душа моя расцвела, как пышный цветок. Цветок этот чувствует, как тайна роста сочится в его молодом соке и как поднимается его упоение. С утра до вечера кружит цветок вместе с солнцем, кружит моя душа вокруг твоей, испытывая и жажду, и блаженство». Ещё одно место: «В каждом луче солнца, в каждом шорохе листьев я чувствую и вижу тебя. Нам следовало бы взяться за руки, как брату и сестре, оставить все и уйти в мир с чистыми сердцами детей Божиих, питаться дикорастущими плодами, просить милостыню, молиться и оставаться блаженными. Рядом с тобой, если твоя рука будет в моей, я не изведу страха и для меня не будет ничего невозможного. Если не в этой жизни, то в другой это произойдет непременно. А может, это мое желание — лишь воспоминание о давно ушедшей, забытой жизни? Где-то, когда-то это, по-видимому, уже было: иначе ведь не объяснить тот факт, что мы нашли друг друга». И последнее: «Я обнимаю за шею своего большого, дикого, доброго волка и дарю ему бесконечно долгий и сладкий поцелуй, пока он, опьяненный, бормоча, не закроет глаза и не увидит Норину во сне».

И подпись: «Твоя — несвятая».

Леван — «истинно любящий», как его называла Норина, чувствовал все это, не читая. Он шествовал победоносной поступью по дороге Солнца, тем более что нависшая было над ним тень рокового восстания миновала его.

## ВОССТАНИЕ

Однако он ошибся: восстание не было отменено, а лишь перенесено на несколько дней. Неужели руководители восстания заподозрили, что их план стал известен большевикам? Во всяком случае отсрочка гово-

рила о том, что они не были уверены в себе. Официальные газеты поместили следующее предостерегающее обращение к грузинскому народу: «Замышляется восстание, участие в котором — безумие». Из этого обращения следовало, что власти уже подготовили ответный удар. Это смутило повстанцев. Внезапность их удара, таким образом, уже исключалась. Но это еще не все. Обращение исходило от одного из участников восстания, который вместе с двумя товарищами был послан от парижских эмигрантов для политической подготовки восстания. Он был арестован работниками ГПУ. Хотя его призыв и нельзя было расценивать иначе как истерический крик, действие этого призыва все же было ошеломляющим. Не менее важным оказалось то обстоятельство, что призыв был опубликован с опозданием, а восстание должно было начаться уже на следующий день. ГПУ, конечно, предприняло все для того, чтобы парализовать решимость противника непосредственно до начала действий, а также для того, чтобы отрезать ему путь к отступлению. В стане восставших появилась неуверенность, и они начали действовать опрометчиво. В городе марганца Чиатура восстание вспыхнуло на день раньше намеченного. Это окончательно погубило все дело. Все, казалось, предостерегало, но восстание тем не менее началось. Несмотря на плохую подготовку и организацию, люди боролись героически. В Картли, Кахети, Имерети, Гурии, Мегрелии, Аджарии, а также среди горских племен сванов, хевсуров и тушинцев — везде вдруг возродился старинный, испытанный веками боевой дух Грузии. Тбилиси — опорный пункт большевистской власти повстанцы пока не трогали. Если ими будут взяты провинции, — так они предполагали в своих не выдерживающих никакой критики расчетах — тогда и столица, окруженная со всех сторон, будет вынуждена сдаться. Тбилиси был в состоянии лихорадочного выжидания: снова сердце Грузии трепетало.

Большевиков, обычно демонически неустрашимых, вдруг охватил панический страх. Они горячились и нервничали. После 6 часов вечера было запрещено выходить на улицу. Ночью в городе патрулировали вооруженные солдаты, стоявшие друг от друга на расстоянии 10 метров. Зловеще сновали машины. На лицах лю-

дей печать предчувствия беды. Прямой телефон между Тбилиси и Москвой ни на секунду не прерывал работу. В боевую готовность было приведено все ГПУ. Для С. О., наделенного Москвой чрезвычайными полномочиями, стоял наготове самолет на тот случай, если ему придется спасаться бегством. Некоммунисты, в чьей груди билось сердце Грузии, были обречены на бездействие. С болью прислушивались они к происходящему. Вместо сна к ним приходил кошмар, и с каждым днем поступали все новые вести. Любой шепот был таинственным, слухи быстро разрастались до легенд. Надежда и отчаяние постоянно пожирали друг друга. Борьба продолжалась. Люди пытались по лицам коммунистов, ставших как бы чуткими измерительными приборами, определить малейшее изменение событий. Многие угадывалось таким образом. Ни Армения, ни Азербайджан, ни Северный Кавказ не присоединились к восстанию. Для них, с кем восставшие вообще не заключили никаких соглашений, участие в восстании не имело никакого смысла, по крайней мере до тех пор, пока они не убедились бы в его успехе. Ожидавшаяся из Европы помощь не пришла. В уповании на иностранную помощь была проявлена редкая наивность. Тем временем большевики увеличили свою боевую мощь. Судьба восстания была решена. Лица коммунистов снова обрели уверенность. Советская власть организовала в Тбилиси демонстрацию, в которой приняло участие свыше 100 000 человек. Все эти люди гневно осудили восстание. Однако, если бы каким-нибудь чудом победоносные колонны мятежников ворвались в город, гнев и ярость толпы тут же сменились бы ликованием. Большая часть из них действительно была настроена против восстания, и это облегчало им их возгласы осуждения.

Итак, восстание, длившееся почти неделю, было подавлено. ГПУ свирепствовало, каждый день приносил сотни смертных приговоров, число расстрелянных достигло 6 000. И тогда из Москвы был получен приказ: остановить казни. Люди облегченно вздохнули. Но это был тягостный вздох. Страна погрузилась в скорбь. Если этому хотя бы предшествовала настоящая борьба! Но неумелое руководство восстанием повлекло за собой лишь бессмысленную трату сил и потерю людей.

Поражение было воспринято как позор. Паритетный комитет, укrywшийся в монастыре, был арестован *in cog-*  
*roge*<sup>1</sup>. Приказ из Москвы спас членам комитета жизнь. Горе и страх царили вокруг. Однажды в воскресенье сотни женщин, одетых в траур, отправились в Кашветскую церковь. Это было трогательное зрелище. Все эти женщины шли туда, не сговариваясь. Эта демонстрация была гораздо внушительнее, по меньшей мере естественней, первой. Казалось, что сама Magna Mater<sup>2</sup> проявляет заботу об источнике жизни народа. Это были матери, сестры, жены, пришедшие в храм Божий, чтобы оплакать своих сыновей, братьев, мужей. Здесь каждая слеза была молитвой. Стройное здание кафедрального собора напоминало стан девы, принесенной в жертву.

Так закончилось восстание. Самое крупное в истории Советской Грузии. Но не на счастье Грузии.

## ПРОПАСТЬ

Никакие нервы не были в состоянии выдержать эти ужасные дни, даже нервы самурая. Борьба была похожа на харакири, но без героического смысла самопожертвования. Предводители восстания без сомнения были повинны в его трагическом исходе. Леван чувствовал себя уничтоженным. Его самого не коснулась кара Советской власти, но ему от этого не было легче. В обычном общении жесткий и почти суровый, он становился нежным, податливым и необычайно чувствительным, когда дело касалось основ бытия. Теперь он ежедневно воочию убеждался в том, как смертельно может быть задета эта основа. Были расстреляны: Мушни и его брат, мегрел Андро, стройный и кроткий, как лань, юный брат Одиллиани, брат Закара, брат пчеловода и еще многие, многие. Каждый казненный, хотя Леван и не был знаком с ним лично, стал ему теперь родным братом. Леван глубоко страдал. Никто из знавших его не мог себе представить, что он был способен проливать слезы. Теперь он плакал, как беспомощный

<sup>1</sup> В полном составе (лат.).

<sup>2</sup> Великая Матерь (лат.).

ребенок, плакал тайком. Он, правда, продолжал жить: он дышал, чувствовал, слушал, видел, ел, пил, спал, путешествовал. Но было ли это жизнью? Представьте себе гения, — любил он повторять, — гения с творческой энергией Гете, народ которого вдруг постигла катастрофа. Он, спасшийся лишь один, продолжал бы жить и творить в одиночестве, но ему недоставало бы главного: источников, незримо питающих его. Пройдет какое-то время, и он почувствует, что источники иссякли. Это иссякание источников Леван ощущал пока, правда, лишь в виде смутной, но тем не менее разрушительной тревоги. И это еще не все. Бросалось в глаза нечто странное: угроза всей корневой системе народа. Если уничтожить несколько корней, то все еще останутся другие, которые окажутся в состоянии оживить, обновить весь феномен. Но если отравить сразу всю систему, то бытие станет игрушкой дьявола.

Уже в первые дни после установления Советской власти в Грузии Леван заметил, что это была необычная власть. Власти, как силе, можно было и покориться — она бы ранила бытие, но не повредила бы его в своей основе. Можно было бы даже пойти на смерть, но не покориться. Тогда бытие было бы спасено изнутри. Но дело в том, что эта власть оказывала на бытие совершенно другое действие. Люди стали замечать, что под влиянием этой власти непостижимым образом изменилась сама расстановка силовых полей. Казалось, что в ядро бытия проник новый элемент. Элемент этот, словно инородное тело, мешал, тормозил, мучал, и не было никакой возможности избавиться от него. Он разъедал здоровые клетки организма, разлагал непорочную целостность человека. Это не могло не бросаться в глаза. Но, к сожалению, этим беды еще не кончались. Кое-кто уже начал подсознательно приспособливаться к инородному телу и даже пытался ощутить его своим — любой ценой, ибо ведь без свежих клеток, вне единого целого нет жизни. Нашлись и такие, которые даже выражали неподдельный восторг по отношению к роковому инородцу. Но все было тщетно: противоречие лишь оттеснялось вглубь, боль приглушалась, а угроза тем временем возрастала. Что же это такое? — постоянно спрашивал себя Леван. Это было для него загадкой. Он искал сравнения, с помощью которого хо-

тел попытаться раскрыть смысл этой загадочной силы. И он представил себе опозоренную девушку: позор постоянно терзает и жжет ее, никто и ничто не в состоянии избавить ее от него. Ее нутро подорвано — навсегда. Однако может случиться чудо, — продолжал размышлять Леван: она может совершенно неожиданно для себя почувствовать любовь к своему насильнику. Казалось бы, позор тогда снят и его последствия сведены на нет. Но действительность куда трезвее и непримиримее — женщине это известно. И все же она подсознательно мечтает об этом чуде, и ей даже мнится порой, что мечта ее сбывается. Но это иллюзия: ее любовь — если она состоится таким образом — всегда будет самообманом, и ее терзаемая душа все чаще будет впадать в безысходную истерию, которая завершит падение. Так примерно объяснял себе Леван феномен большевизма. Пораженный им человек опускает руки. Как ни пытается он примирить в себе противоречия, это ему не удается. Холодный, злой, невидимый дух не отходит от него, злорадно потирая руки: все его мероприятия мастерски удаются ему. Торжествующим взором окидывает он дело рук своих: убиение образа и подобия Божьего в человеке. Если бы проводники его власти сознавали это, то в их психике произошел бы взрыв короткого замыкания.

Так была подорвана основа бытия. Леван и раньше чувствовал это. Теперь же во время и после восстания он осознал это, как никогда, на примере той организованной большевиками демонстрации, в которой и он принял участие. Он вместе с тысячами других — и это было искренне — осудил зачинщиков мятежа. Но осуждение это произошло по инициативе тех, кого он ненавидел, и это было неискренне. Образ опозоренной девушки стоял перед его мысленным взором. Нет, этот удар был намного сокрушительнее, нежели тот, что постиг страну 25 февраля, — подумал он.


Одилиани все еще находился в своей деревне. Авала застрял на пути в Батуми, а остальные друзья не покинули своих мест отдыха. Леван продолжал встречаться лишь с Коста и Нориной, задержавшейся в Тбилиси из-за неурядицы на железной дороге. Изредка он виделся и с Закара. Из Саирме не поступало никаких вестей. Коста чувствовал что-то недоброе. Его беспо-



койство росло. Счастливая Норина вместе с тем ощущала и затянувшуюся боль, ибо разделяла безмерное страдание возлюбленного. Хорошо, что она была пока лишена возможности вернуться в Саирме: своим присутствием она как друг, как сестра облегчала его страдание. Так думала Норина. Преисполненная нежности и заботы, она создала вокруг него атмосферу, в которой он легко и свободно дышал. Вместе с ней он легче переносил свое мучительное состояние, без нее горе терзало его.

Однажды вечером Норина навестила Левана в его квартире. Она застала его больным. Запеленав себя простыней, он таким образом пытался унять судороги. Она под села к нему на кровать и, как сестра, нежно погладила его. Ее ласка подействовала на него успокаивающе: судороги мало-помалу стали проходить. Леван чуть приподнялся, обнял и поцеловал ее сначала нежно, затем все сильнее и продолжительнее. Еще одна пронзительная секунда — и она перестала быть его сестрой. В ней еще раз проснулась всеженщина. Они, правда, оба были на своей солнечной дороге, но на сей раз мужчина оказался не в силах мобилизовать свою духовную потенцию. Он чувствовал, что погружается в какую-то влажную тьму. Всеженщина пробудилась в ней сильнее, чем когда бы то ни было. Они были теперь лишь орудиями слепой силы. Телами своими они искали друг друга, чтобы в бездонной усладе слиться воедино. Они вкусили услады, однако отрада не приходила. Каждым вздохом, каждой кровинкой приблизившись друг к другу, они вдруг, как никогда, оказались далеко друг от друга. Мужчина — больше, женщина — меньше, но образовавшийся разрыв подействовал на нее ничуть не меньше. Наступила разъедающая пустота.

Вместо луча света, в котором они когда-то блаженно растворились, в них теперь безысходно суетилось, металось бессилие. Услада оказалась почти самоубийственной. Что же произошло? Как для мужчины, так и для женщины, хотя для нее в меньшей степени, это было неестественно. Тот, кто хоть раз ступил на солнечную дорогу любви, не может чувствовать иначе, — думал Леван. Теперь он видел, что был поражен в са-



мую сердцевину души, иначе как мог он потерять власть над собой? Он не находил себе места. Может, это была временная слабость? — утешал он себя. Но он снова и снова испытывал чувство вины. Каждый раз, когда она прикасалась к нему, в нем тут же вспыхивал темный огонь, словно это была месть за измену солнцу. Огонь этот опустошал. Женщина же дышала зноем пустыни. Каждый раз они возвращались к себе опустошенными. Оба сознавали это, и он яснее, чем она. Однако это было лишь знанием, власть же над бытием они утратили.

Леван страдал, страдала и Норина, но она — больше, глядя на него. Она пыталась помочь ему. Тщетно. Ей не доставало для этого сил. Женщина в таком случае непременно терпит фиаско — в этом Леван не сомневался. Бездна разверзлась перед ним, готовая поглотить его.

Разбитый, растерзанный, уничтоженный, сидел он однажды у Норины. Печаль его была кроткой, тем сильнее ее действие. Норина снова ласкала его, спокойно, участливо, как сестра. На сей раз прикосновение возлюбленной не распалило в нем тот темный огонь. Это было неожиданно как для него, так и для нее. Он сидел молча, безучастно.

— Что с тобой? — спросила его Норина озабоченно. — Ты сегодня какой-то чужой.

— Чужой? Нет! Я никогда не был так близок тебе, — шептал он ей.

Возлюбленная проникновенно взглянула на него.

— А, может, и чужой, — поправил сам себя Леван.

Норина взглянула на него широко раскрытыми глазами. Леван медленно стал доставать что-то из кармана. Это был маленький ключик.

— Ты видишь это? — спросил он и показал ей ключик.

Норина была озадачена, однако промолчала. Он кратко рассказал ей все о Священной Чаше. Внимая ему, она видела, как страдал ее возлюбленный. Он же, казалось, уже находил утешение в своем страдании, но оно от этого не становилось слабее. Он молчал, беспомощно глядя перед собой невидящими глазами. Она с быстротой ясновидицы угадала его мысль: он повер-



жен в сердцевину души и утратил энебгню солнца. Как же теперь ему, потерпевшему фиаско на солнечном пути, исполнять миссию хранителя Грааля?

— У тебя есть еще твое горе, — выговорила она наконец. Он оторопел на секунду. Придя в себя, он почувствовал прикосновение благостной волны любящей женской души к его ране. Это подействовало исцеляюще.

— Да, — подумал он, — до тех пор, пока человек страдает, он всегда найдет в себе силу — по меньшей мере силу сопротивления. И вот слабый луч надежды засветился в нем.

— Ты помнишь, — прошептал он после долгого молчания, — что я ответил тебе тогда в лесу, когда ты спросила, так ли уж греховна плоть?

— Да, — ответила она и повторила его ответ: «Лишь в том случае, когда человеку недостает энергии солнца».

— И какой из этого ты делаешь вывод?

— Ты, видно, хочешь сказать, что теперь ты страдаешь от этой утраты?

— Да.

— А если во мне живет солнце, разбуженное тобой?

Ее слова прозвучали по-детски мило и непосредственно. Леван нежно обнял ее. Он вдруг почему-то вспомнил, что некоторые народы, как, например, грузины и немцы, представляют себе солнце как женское существо. Можно ли как-то объяснить это с точки зрения мистики? Может быть, солнце — лоно духовных сил, проявляющих себя через него? — думал он. В таком случае солнце должно быть одновременно и воспринимаящим, и формообразующим феноменом, как женщина. Исида ведь была дочерью солнца, породившей бога солнца Озириса! И вот теперь его возлюбленная сидела, прислонившись к нему. Он оставил ее слова без ответа. На улице послышался шум дождя, но он скоро перестал. Медленно надвигались фиалковые сумерки. Воздух был напоен пьянящим ароматом земли — ароматом солнца. Еще никогда Норина не казалась ему столь прекрасной. Она нежно, почти неощутимо приникла своим левым виском к его правому виску. Странно: теперь прикосновение женщины уже не

оказывало на него чувственное воздействие. Теперь женщина вела мужчину по солнечному пути. В обоих горел чистый пламень, и все же прикосновение пронизало их сильнее, чем это случалось до сих пор. Словно растущий луч, вылилась душа женщины в сокровенную глубину мужчины. В течение одного божественного мгновения мужчина ощутил, как в нем вновь заструилась возрожденная жизненная сила. Блаженное мгновение! Никакая другая жертва не могла бы так осчастливить его. Создалась новая, надчувственная, духовная плоскость, но не менее упоительная.

Долго сидели они так молча, обнявшись, ощущая прозревшими чувствами происходящее внутри них.

— Беатриче, кажется, обладает большей благодатью жизни, чем сам Данте, — шепнул он. И затем еще тише:

— Ты, конечно, понимаешь, что я хочу сказать?

Норина не ответила ни словом. Она боялась шелхнуться. Она сияла безмолвной радостью. Этот миг следовало предоставить самому себе, чтобы он — слабый росток — не погиб бы в своей еще нежной, пока беззащитной оболочке. Они просидели так еще некоторое время. Затем он тихо простился с ней.

## СИЯТЕЛЬНЫЙ УЗНИК

В Тбилиси неожиданно появился Дата с недоброй вестью: арестован отец и перевезен сюда. Коста и Норина пришли в ужас. Леван, сидевший в это время у них, спокойно принял это известие. Он стал утешать обоих братьев и Норину, заверив их в том, что князю Гиорги никакая опасность не угрожает. Его тихий, но твердый голос успокоил всех. Леван спросил Дата, не был ли произведен обыск в замке отца.

— Очень поверхностный, — ответил Дата.

— Конфисковали что-нибудь?

— Нет, конфисковано ничего не было, но кое-какие бумаги они взяли с собой.

Леван задумался. Итак, судя по всему, Священную Чашу они не нашли. А бумаги? Может быть, среди них был и дневник? Эта мысль искоркой сверкнула в его мозгу, причинив острую боль, но Леван преодолел ее.

Сейчас не время думать об этом, — сказал он себе. Надо немедленно принять меры для обеспечения безопасности князя Гиорги. В тот же вечер Дата и Нурина выехали в Саирме.

Князь Гиорги сидел в маленькой камере ГПУ. Стены этого зловещего здания едва ли принимали когда-нибудь подобного заключенного. Он не выказывал и тени страха, ибо не был политиком, тем более — контрреволюционером. Теперь в нем даже проснулась какая-то определенная жажда приключений, которая когда-то в далекой юности была ему свойственна.

И в самом деле: что могло ему угрожать? Смертная казнь? Волна расстрелов уже прошла. Голод? Он мог подолгу воздерживаться от пищи. В этом ему помогли бы его аскетизм и внутренняя дисциплина. пытки? И это не слишком пугало его, ибо, будучи многоопытным в восточных упражнениях, он был в состоянии сделаться невосприимчивым к болевому ощущению. Невыносимая атмосфера, созданная в ГПУ? Против нее он, конечно, постарается применить явление зимней спячки зверей. Он сидел вместе с тремя заключенными. Они почтительно и смущенно разглядывали необычного для них человека, который своими свободными и благородными манерами производил на них сильное впечатление. Когда они узнали, что их товарищ по камере некто иной, как князь Гиорги, смущение их прошло, а почтение возросло. Они почувствовали некоторое облегчение своей участи уже лишь только благодаря тому, что он был здесь, с ними.

Приближалось время допроса. Роль следователя выпала на долю одного грузина, но он решительно отказался допрашивать князя. Это было неслыханно. Шавдия, один из ведущих функционеров ГПУ, тот самый, который в свое время сидел в кафе вместе с огненно-рыжим, напротив Левана, был возмущен.

— Он мой крестный отец, — объявил грузин свое нежелание быть на сей раз следователем.

— В конце концов, вы большевик или нет? — закричал на него Шавдия.

— Да, большевик, но...

— Какое еще может быть «но»? Не пристало большевику так робеть перед своим крестным!

— Чисто теоретически вы, конечно, правы, но что-то мне все же мешает, я не могу это объяснить...

— Вы не вполне созрели для нашей работы.

— Это и я теперь вижу. Как большевик я, конечно, не могу сравниться с вами. — Это была лесть, завуалированная в тонко разыгранную наивность. И она подействовала.

— Крестный! Вздор! — усмехался начальник, но все же освободил грузина от ведения следствия.

Был назначен другой следователь. Но и этот не смог совладать с князем Гиорги, ибо уже в самом начале следствия смутился, глядя на своего подследственного. Затем нашли другого. С ним произошло то же самое. Начальники ГПУ были вне себя от бешенства. Наконец вспомнили огненно-рыжего, и тут все облегченно вздохнули.

Князь Гиорги был удивлен, когда увидел в следственной комнате Вельского. Это, должно быть, и есть то чудовище, которое так напугало Андро и Левана, подумал он. Он и сам на миг почувствовал страх, но тут же успокоил себя. В этом отношении он был гораздо сильнее и гибче Левана, не говоря уже об Андро. Косой взгляд огненно-рыжего, правда, смущал и князя, но он старался избегать его. Он не смотрел сразу в оба его глаза, а лишь попеременно то в правый, то в левый. Иногда он глядел и в сторону. Удовольствия это, конечно, не доставляло, но ему удалось таким образом преодолеть скованность. Вельский держался спокойно и достойно, сохраняя при этом вежливость. Несмотря на то, что он ненавидел аристократию из зависти к ней, он чувствовал, хоть и не без досады на себя, симпатию к державшемуся независимо князю Гиорги.

— Мне бы не хотелось говорить по-русски, — сказал князь.

— Почему? — удивился Вельский.

— Разумеется, не потому, что питаю неприязнь к русскому языку, напротив. Но вы ведь знаете, что царское правительство предало нас, грузин, и в этом — вам это будет нетрудно понять — заключается психологическая помеха...

Царское правительство — предатель? Это было приятно слышать огненно-рыжему. Еще больше поль-

стило ему замечание князя о том, что ему, дескать, не-  
трудно будет понять психологические нюансы.

— Однако я не говорю по-грузински, — сказал  
Вельский.

— Но вы, конечно, говорите на европейских язы-  
ках. Слово «конечно» прозвучало как признание.

— Тогда, может быть, будем изъясняться на фран-  
цузском? — предложил польщенный Вельский.

— Весьма охотно, — согласился князь.

Лишь теперь огненно-рыжий заметил, что допустил  
оплошность: князь Гиорги безупречно говорил по-фран-  
цузски, в то время как его собеседник лишь очень слабо  
владел этим языком. Князь Гиорги с трудом подавил  
улыбку. Он уже наполовину выиграл поединок.

Уже с первых шахматных ходов допроса Вельский,  
слышавший о князе Гиорги много граничащего с ле-  
гендой, заметил, что перед ним был необычный под-  
следственный, с которым следовало обращаться особо.  
Внешне он повел допрос обычным образом, чтобы до  
поры до времени скрыть свою истинную цель. Спокой-  
но, как бы между прочим он сказал, что князь Гиорги,  
мол, несколько месяцев тому назад приютил у себя од-  
ного мятежника.

— Совершенно верно, — сказал князь Гиорги. —  
Я всего лишь оказал ему гостеприимство.

— Гостеприимство? — пробормотал Вельский. —  
Вам должно быть известно, что предоставление госте-  
приимства в таком случае запрещено даже в демокра-  
тических странах.

— Да, мне это известно, — подтвердил князь.

— И все же?..

— Знаете, определенные традиции, в том числе и  
традиция гостеприимства, еще живы в нас... Я и вас  
бы принял в своем доме, если бы вас преследовали.

Вельский промолчал, хотя его молчание никак нель-  
зя было принять за согласие. Затем он коснулся — и  
снова как бы между прочим — переписки князя с его  
заграничными друзьями. Князь Гиорги сразу понял,  
на что намекал следователь.

— Ах, мои друзья за границей, — сказал он, улы-  
баясь, — они не имеют ни малейшего представления о  
положении вещей у нас и пользуются в своих письмах  
неосторожными, но вполне безобидными выражениями.

Попытка объяснить им это выглядела бы еще подозри-  
тельнее.

Это объяснение князя прозвучало настолько непо-  
средственно и прямодушно, что Вельский оставил его,  
несмотря на двусмысленность, без ответа. Его инте-  
ресовало нечто совершенно другое. Теперь он обстоя-  
тельно и осторожно стал расспрашивать князя о его  
политических взглядах. Князь Гиорги ответил ему, что  
он, мол, не политик и ни к какой партии не принадле-  
жит.

— Это все утверждают и здесь, и в России, — ска-  
зал Вельский тихо. — А если бы вы стояли перед вы-  
бором, вы присоединились бы к какой-нибудь партии?

— Нет, — твердо заявил князь.

— Как? Даже в том случае, если бы этого потре-  
бовал исторический момент?

— И в этом случае нет.

Вельский удивленно смотрел на князя Гиорги.

— Это мне непонятно, — прошептал он.

— Как мне это вам объяснить? — спросил князь. —  
Я попытаюсь пояснить свою мысль на примере явле-  
ния соответствий. Я предполагаю, что вам это явле-  
ние неизвестно. Я могу, к примеру, поцеловать руку  
женщины, и в каждом языке есть для этого соответст-  
вующее слово. По-грузински это: коцна. Но Святую  
Деву Марию я не могу «коцна», здесь я употребляю  
другой глагол, предоставляемый мне грузинским язы-  
ком: амбори. Или другой пример: я могу здесь петь,  
хотя это здание не вполне пригодно для этого, но не  
в молельне. Для первого случая, у нас, грузин, есть  
слово симгера, для второго — галоба. А вот еще при-  
мер: Священное Писание должно быть написано дру-  
гими письменами, нежели произведения светской ли-  
тературы. У грузинского народа эти письмена разные.  
Или же: я могу обратиться к вам со словом «госпо-  
дин»... Как, скажите пожалуйста, величать вас?

— Вельский, — машинально ответил следователь.

— Итак, я могу обратиться к вам со словами «го-  
сподин Вельский» — прошу меня извинить, но я еще не  
привык к сегодняшнему: «гражданин» — итак, я могу  
сказать вам: «господин Вельский», но я никогда не ска-  
жу: «господин Бог». У грузин для этих соответствий





два разных слова: «батони» — для обращения к человеку и «упали» — когда речь идет о Боге. И заметьте, пожалуйста: слово «власть» произошло в грузинском языке не от первого, а от второго понятия. В этом кроется тайна.

Князь Георгий умолк.

— Если я вас правильно понял, вы полагаете, что природа власти сакральна? — спросил Вельский после непродолжительной паузы.

— Совершенно верно. Если, конечно, иметь в виду подлинную власть, — добавил князь Гиорги.

Вельский насупил брови.

— И так как сегодняшняя власть не сакральна, то вы ее не признаете. Я правильно вас понял?

— Да, абсолютно правильно, — подтвердил князь.

Они разговорились. Это был уже не допрос, а духовный диалог, приятный во многих отношениях, хотя и несколько странный для князя Гиорги. Они коснулись различных проблем современности, кратко, но довольно существенно. Сам Вельский говорил мало, он лишь делал короткие замечания, причем и они были высказаны в форме возражений. Казалось, что он знал все то, что занимало князя в духовной сфере, хотя и не из первых рук. Он показал себя исключительно умным и деликатным собеседником. Князь Гиорги говорил свободно, стараясь тайком испытать своего необычного собеседника.

Так закончился первый допрос. Когда князь Гиорги вернулся в свою камеру, он по-настоящему задумался: какую, собственно, цель преследовал Вельский своей необычной манерой допроса? Вдруг он увидел проходящего мимо него в коридоре молодого человека и вздрогнул: принц Багратиони! Неужели и он был арестован? Нет, он шел рядом с работником ГПУ, дружески беседуя с ним. Невероятно: единственный наследник грузинской короны — на службе ГПУ? То, что великая династия Багратионов могла так деградировать, было непостижимо для князя Гиорги. Молодой человек несомненно узнал князя Гиорги и быстро скрылся в ближайшей комнате. Может быть, от стыда? Что пользы? Это был первый серьезный удар, постигший князя в ГПУ. Расстроенный, вернулся он в

свою камеру и снова задумался. Так что же все-таки намеревался выведать у него огненно-рыжий?

Вельский был доволен, что ничем не обнаружил свою ненависть к князю Гиорги во время допроса. Он никогда еще не был так горд своим самообладанием, как на сей раз. Он сидел один в своем кабинете, дав волю своему чувству. Вот где сосредоточено все зло! — бормотал он про себя. Он был раздосадован, что так или иначе поддался обаянию своего сиятельного подследственного. Так всегда было с Вельским, даже в детстве. В чем была причина его ненависти к аристократии? На этот вопрос он и сам не смог бы себе ответить. Он чувствовал себя замкнутым в своем «я». Это ощущение было сладостным и все же угнетало его. Он был умен, но никогда не мог быть наивным. Он всегда был взрослым и никогда не чувствовал себя ребенком. Он утверждал себя в своих собственных глазах, но никогда не был способен к самоотречению. Это терзало его. Он даже завидовал всем тем людям, которые — будь то в игре, в любви или на пиршествах — забывали о своем «я». Иногда он пытался забыться в вине, но опьянение, которого он так страстно желал, было в таких случаях настолько подчеркнутым и искусственным, что причиняло ему еще больше мучений. Укрывшись от окружающего в самом себе, он сохранил лишь способность к разлагающему анализу и лишь в ненависти выползал из своей скорлупы, т. е. ненависть была его вожделенным экстазом. Вот почему ему приходилось порой ненавидеть самого себя. Его ненависть к другим была мстью за ненависть к самому себе. Он ненавидел князя Гиорги за то, что сам не мог быть князем.

Уничтожить! Уничтожить! — цедил он сквозь зубы. Но как? Подвести его под расстрел? Но это не было бы настоящим уничтожением. И тут ему пришли в голову слова Кириллова у Достоевского: «Представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову — будет вам больно?» «Камень с дом? Конечно, страшно». «Я не про страх; будет больно?» «Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно». «А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что


больно...»<sup>1</sup> Этот помешанный гениален, шептал про / себя Вельский. Надо вот так заставить князя мучаться до тех пор, пока страх не уничтожит его изнутри.

Он потребовал бумаги князя, и они были ему незамедлительно предоставлены. Он рылся в них долго, терпеливо, и, наконец, ему бросилась в глаза тетрадь, дневник князя, снабженный заголовком: «Несвоевременные заметки». Он пощупал тетрадь и полистал ее. Записи были сделаны на грузинском языке. Вельский взял тетрадь с собой и вызвал к себе переводчика с грузинского. Всю ночь напролет он изучал дневник, лихорадочно стремясь найти в нем то, что могло бы послужить каплей яда в борьбе против князя. Чем меньше будет это нечто, тем эффективнее яд, думал огненно-рыжий. Он уже предвкушал свою месть. Многие из того, что было затронуто князем Гиорги в разговоре с ним, значилось и здесь. Переводчик продолжал усердно читать. Вельского распирало любопытство. Вдруг он услышал то место, где речь шла о завещании относительно Чаши Грааля. Наконец-то! — вскричал Вельский, да так громко, что переводчик, хоть он и был работником ГПУ, побледнел от страха. Вельский велел ему еще раз прочесть это место. Затем он отпустил изумленного переводчика и погрузился в размышления.

Итак, яд найден! — ликовал огненно-рыжий. Во время второго допроса он решил как бы случайно упомянуть о Чаше, сначала в общих чертах коснуться Грааля, затем осторожно перейти к его грузинскому варианту. Каплю яда он незаметно введет в душу князя и — жертва будет немедленно и необратимо подвержена силам разложения. На Вельского словно нашло вдохновение. И тут в памяти его всплыло имя Левана. Ах, да ведь это тот человек, которого он встретил однажды в поезде! Он, конечно, попытается защитить Чашу из последних сил, но он, разумеется, будет задержан, а Грааль конфискован. Тем временем в душе князя, — продолжал размышлять Вельский, — начнет действовать капля яда. В один прекрасный день князь

---

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 7. Бесы. С.-Петербург. Издание А. Ф. Маркса. 1895, стр. 11. (Прим. переводчика).



увидит, что камень Кириллова висит над ним, и ничто ему уже не поможет. Тогда он, Вельский, — и на сей раз так же спокойно и как бы нехотя — волеет в душу князя вторую каплю яда, сообщив ему, что хранителю Грааля, Левану, грозит опасность. Князь, конечно, сделает все для того, чтобы спасти Левана и даже предаст Грааль, предавая тем самым самого себя. Он обвинит себя в том, что с помощью колдовства принудил Левана взять на себя обязанность хранителя Чаши Грааля, теперь же он, дескать, осознает, что все это было пустой затеей, безрассудством, бессмысленным риском. И тогда он, князь, уже не будет самим собой, с ним будет покончено.

Огненно-рыжий потирал руки, предвкушая победу. А до тех пор, пока все это осуществится, — за дело! Прежде всего найти Чашу Грааля, уничтожить сначала табу. И Вельский приказал органам ГПУ организовать постоянную слежку за Леваном.

### БОРЬБА ЗА ЧАШУ ГРААЛЯ

«Кое-какие бумаги они взяли с собой», вспомнил вдруг Леван сообщение Коста. Неужели среди них и дневник князя Гиорги? — с беспокойством подумал Леван. В нем, наверно, записано завещание о Священной Чаше. Истощающий душу страх охватил Левана. Каждая минута была дорога, и он решил немедленно отправиться в Саирме. В поезде он встретил Закара, который ехал в Кутаиси к своей больной матери.

— Как дела? — спросил его Леван.

— Все произошло так, как вы предвидели, — ответил летчик.

— Вы не участвовали в восстании?

— Нет, как мог я присоединиться к восставшим после нашего разговора в Манглиси.

Леван был тронут и с любовью взглянул на своего молодого друга.

— Знаете, — тихо и взволнованно начал Закара, — я наблюдал за вами в эти дни, вы были так изнурены. Я думаю, что вам сейчас, наверное, очень трудно оставаться в Грузии. Я и мой самолет в вашем распоряжении.

— Чтобы бежать за границу? — вырвалось у Левана.



— Да.

— Нет, мой дорогой Закара! Было бы нехорошо с моей стороны в эту минуту покинуть страну. Мне нужно остаться. Народ наш внутренне подавлен, но не уничтожен. На нас возлагается обязанность возродить его силы. Нам нужно организовать небольшой союз избранных людей, способных тайно и свято хранить сокровенную сущность Грузии. Какой-нибудь орден рыцарей. Вы мне доверяете?

— Больше чем самому себе.

— Вы будете одним из членов этого союза.

Закара просиял от радости, однако он ничего не сказал, ибо ответственность казалась ему слишком большой. Леван продолжал говорить. Он описал организационные подробности союза. Закара слушал молча, с предельным вниманием. Он уже чувствовал себя рыцарем ордена. На станции Риони они простились. Это прощание было вместе с тем и приветствием грядущего издалека, но пока невидимого союза.

Леван шел, задумавшись. Что делать? — спрашивал он себя. Надо немедленно спрятать Чашу в другом месте. Но ГПУ, конечно, не оставит без внимания ни самого Левана, ни Священную Чашу. Оно непременно арестует Левана, постарается сломить его дух и выведать у него всю правду о Граале. Глубоко опечаленный, думал Леван о судьбе Чаши. Вдруг ему пришла в голову мысль о том, что ведь можно вместо Грааля положить в ларец какую-нибудь простую чашу. Эта мысль, на миг сверкнувшая в голове у Левана, тут же погасла. Разве так подобает поступать рыцарю Грааля? Леван почувствовал себя ничтожным. Но с другой стороны на него была возложена миссия учреждения Союза, и эта сверхтрудная задача в этом крайнем случае, казалось, оправдывала все.

Погруженный в эти мысли, он приближался к замку князя Гиорги. Не успел он достигнуть двора, как перед ним, точно из-под земли, выросли два работника ГПУ: Шавдия и Вельский. Леван мгновенно оценил ситуацию.

— Ага! Гражданин Орбели! — весело воскликнул огненно-рыжий. — Какая случайность свела нас в этом месте?

— Тот, кто не признает никаких тайн, не может,

по моему мнению, поверить и в случайность. Разве не так, господин Вельский? — ответил Леван, улыбаясь. Огненно-рыжий оторопел от неожиданности.

— И все-таки, — продолжал Леван тем же тоном, — вы вынуждены рассматривать нашу встречу как нечто действительно таинственное?

— Не понимаю, — пробормотал Вельский.

— Могу я говорить с вами на каком-нибудь иностранном языке? — Леван, подмигнув Вельскому, указал на его спутников.

— Пожалуйста. Если угодно, по-французски, — ответил изумленный Вельский.

— Хорошо, — начал Леван по-французски, — вы помните нашу встречу в поезде?

— Ага! — К Вельскому вернулось хорошее настроение. — Вы, наверное, хотите сказать, что мы тогда беседовали о Святом Граале и вот — ...мы встречаемся здесь теперь как раз по поводу этой Чаши!

— Это и в самом деле странно! — сказал огненно-рыжий с усмешкой.

Тем временем во дворе замка показались княгиня и Дата. Они испуганно взглянули на работников ГПУ. Но почему Леван появился вместе с ними? Это не укладывалось в их сознании.

— Одну минутку, пожалуйста, — обратился к ним Вельский, намереваясь, по-видимому, окончательно рассеять их сомнения насчет Левана.

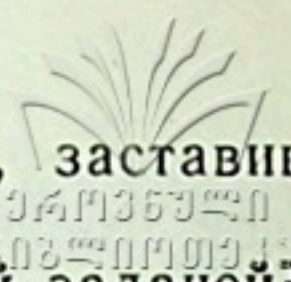
— Гражданин Орбели хочет показать нам кое-что в замке, что согласно завещанию князя Гиорги, должно быть известно лишь ему одному.

Слова Вельского еще больше смутили Дата и его мать. Они стояли растерянные, не проронив ни слова. Может быть, эти люди все же привели Левана сюда, — подумали они. Леван приветствовал их молча. Он уже чувствовал себя несвободным.

— Идемте же, — обратился к нему огненно-рыжий.

Дата и супруга князя Гиорги хотели было последовать за ними, но Вельский повелительным жестом остановил их. Разговор между ним и Леваном продолжался, хотя уже не в том веселом тоне.

— Наша с вами встреча оказалась довольно оригинальной: вы, как хранитель Грааля, я, как его раз-



рушитель, не так ли? — сказал Вельский, заставив себя улыбнуться.

— Справится ли каждый из нас со своей задачей? — улыбнулся и Леван.

— Вы сомневаетесь в этом? — заметил огненно-рыжий.

— В себе, собственно, нет, а в вас — да, — вдруг как-то странно отрезал Леван. Этот ответ хранителя Грааля озадачил Вельского. С недоуменным выражением взглянул он на Левана: перед ним стоял совершенно другой человек.

— Вы хотите сказать, что я не создан для того, чтобы нейтрализовать табу?

— Неплохо сказано, — ответил Леван. — Я чувствую, что вы не обладаете для этого необходимой отвагой.

— Я — не обладаю?

— Нисколько.

— Вы ошибаетесь.

— Хорошо. Докажите мне обратное. Следуйте за мной в комнату, где хранится Чаша Грааля, но велите вашим спутникам остаться здесь.

— И что, по-вашему, произойдет, если я решусь пойти с вами один?

— В моем присутствии вы не сможете прикоснуться к Граалю.

— Да это же просто смешно!

— Прошу вас, попробуйте!

Вельский был ошеломлен. Этот человек, по-видимому, хочет своим хвастовством заманить его в ловушку, говорил он себе, с опаской и подозрением поглядывая на Левана. Однако это вовсе не было хвастовством, ибо от противника исходила внушительная сила, и огненно-рыжий почувствовал ее.

— Послушайте, — собрался наконец с духом Вельский, — я пришел сюда не для того, чтобы делать эксперименты.

— А для чего?

— Чтобы выполнить приказ.

— Тогда вы не тот, кто уничтожит Грааль.

— Но слуга того, кто это сделает.

— Кто этот аноним?

Вельский сразу сообразил, что Леван намекал не столько на партию, сколько на какую-то тайную силу.

— Об этом мы поговорим в другой раз, — ответил он.

— Охотно, если только для этого еще представится возможность, — заметил Леван.

— О, такая возможность будет вам предоставлена, — язвительно прошептал Вельский: он давал понять своему противнику, что тот уже арестован.

— Я рад возможности узнать хоть что-нибудь об этом анониме, — ответил Леван, — но я не верю, что его сила разрушит Грааль.

— Через считанные минуты вы будете другого мнения, — сказал огненно-рыжий уже разгневанно.

— О, это было бы очень интересно, — ответил Леван вызывающе.

Они направились в комнату князя Гиорги. Что это я разболтался? — подумал Вельский. Он был крайне раздражен, ибо не мог простить себе нерешительность. Работники ГПУ ничего не поняли из их разговора. Юный Басила и сван Кансав, держась чуть поодаль, незаметно шли за ними. Страх сковал всех вокруг. Наконец все оказались в комнате князя.

— Вон там находится Чаша, — показал Леван на шкаф. Они подошли к нему.

— Откройте шкаф, — приказал Вельский. Леван достал из кармана ключ, затем медленно и спокойно открыл шкаф. Странно: он делал это легко и непринужденно. Он вдруг почувствовал в себе огромный прилив сил. Каждый человек хоть раз испытывает в своей жизни мгновение, когда пережитое им представляется ему как исполнение его сокровенных желаний. Леван уже ощущал приближение этого мгновения. Он стоял, непоколебимый и суровый, но уже не такой спокойный, как в прежние подобные минуты. Он сверлил глазами огненно-рыжего, который уже потянулся рукой к Чаше. Леван заметил, что и рука у Вельского покрыта рыжими волосами и усыпана веснушками. Перед внутренним взором Левана ожила картина, которую он видел тогда в вагоне поезда: большой мерзкий тарантул вползал в Священную Чашу Грузии.

— Не смей! — крикнул Леван грозным, нечеловеческим голосом. Теперь он весь превратился в ог-



ненный меч. — Эта рука не коснется Священной Чаши! В ней — сердце Грузии! — Каждое слово Левана дышало пламенем.

Вельский был парализован. Он с трудом оттащил отяжелевшую руку. Тяжесть сковала и всю его охрану. Леван уже не был в состоянии говорить. Он был теперь всего лишь осколком кремня, но не упавшего, а пока еще падающего. Вельский украдкой взглянул на Левана и отпрянул от него: перед ним пылало совершенно другое лицо. Победенный, он потупил голову.

— Арестовать его! — приказал шепотом огненно-рыжий.

— Никто не смеет коснуться меня! — закричал Леван. В следующее мгновение Кансав и Басила в ярости ворвались в комнату. Работники ГПУ тут же пришли в себя. Завязалась борьба. Кансав сражался, как бешеный тигр, Басила применил свои искусные приемы, Леван бил, словно световым копьем. Кансав и Басила были легко ранены. Через несколько секунд работники ГПУ и Вельский оказались обезвреженными.

— Перебить кости этим чудищам! — закричал Басила.

— Не убивать! — приказал Леван.

Они обезоружили работников ГПУ и связали их по рукам и ногам. Вельского раздели догола и привязали в чем мать родила к стволу березы.

— Прости нам это оскорбление, доброе дерево! — сказал Леван березе.

Вельский пришел в исступление. Такого исхода он не ожидал. Его глаза свирепо вращались в глазницах, словно два попавших в ловушку диких кабана. Их желтоватые белки страшно сверкали от ярости, но они были беспомощны, ибо позор совершенно лишил их сил. Посрамленный, уничтоженный, смотрел огненно-рыжий вокруг себя, вызывая у всех отвращение.

— Что же будет дальше? — Леван слышал свое дыхание. Его сердце бешено колотилось. Он вдруг со всей ясностью осознал, в каком положении оказался. Нужно немедленно предотвратить опасность. Мозг его лихорадочно заработал. Он вернулся в комнату князя, взял из шкафа реликвию, уложенную в коробку из кедровой коры. Тем временем вокруг замка собрались крестьяне.

— Вы знаете, — крикнул он им с веранды, — что большевики погубили нашу страну. Теперь они хотят лишиться нас и этой реликвии. Леван показал коробку с Чашей Грааля неподвижно уставившейся на него толпе. — Здесь лежит сердце Грузии, хранящееся из века в век. Я спасу его! — Люди с изумлением смотрели на него.

— Я должен покинуть вас...

— Я пойду с вами! — воскликнул Басила.

— Я тоже! — отозвался Кансав. К ним присоединилось и несколько крестьян.

— Вперед! — крикнул Леван, и все направились к близлежащей крепости. Сияло небо. Леван шагал, словно в светлом сне. Казалось, что природа спокойно парила во вселенной, будто в сновидении.

Вдруг Леван вспомнил Норину и впервые затосковал по ней. Где она? — спрашивал он себя в волнении. И тут он увидел свою возлюбленную на повороте дороги вместе с дочерью князя. Леван побежал ей навстречу. Он, взрослый мужчина, превратился на глазах у всех в ребенка.

— Святая Чаша спасена! — крикнул он взволнованно вместо приветствия, весь сияя от счастья победы. — Теперь я помолвлен с тобой. Он говорил с ней по-немецки.

Норина удивленно смотрела на Левана. Он коротко пересказал ей суть происшедшего. На лице женщины отразились ужас и боль. Она оглянулась вокруг себя, как бы зовя кого-то на помощь. Она с трудом держалась на ногах.

— В сиянии твоей любви я сделаю это, — сказал Леван, слегка смутившись видом Норины.

— Я пойду с тобой, — сказала она, придя в себя.

— Нет, на это ты не имеешь никакого права. Ты и так всегда со мной.

Затем они быстро простились, не глядя друг на друга. Когда мужчины исчезли из виду, Норина почувствовала острую боль в сердце. В эту ночь она не могла заснуть. Ее тело содрогалось от рыданий и боли.

И все же это была скорее беседа, чем допрос, продолжал рассуждать князь Гиорги. Но разве эта бесе-

да не была для него духовным испытанием? Он задумался. Нет никакого сомнения в том, что Вельский постарается сначала испытать меня, чтобы затем, улучив момент, влить в мою душу каплю яда. Так закончил свое рассуждение князь. Но что же сыграет роль капли яда? И вдруг он вспомнил о своем завещании Левану, которое он записал в дневнике. Дрожь прошла через все его тело: огненно-рыжий несомненно воспользуется тайной Грааля в качестве яда. Князь Гиорги мысленно прощупал во всех деталях тот дьявольски хитрый план, который составил себе Вельский. Правда, это была всего лишь догадка, но тем не менее ясная. Он решил достойно и во всеоружии встретить готовившийся удар.

Он начал сосредоточивать в себе духовную энергию. Жизненные источники должны остаться неуязвимыми, — подумал он, — иначе любая попытка самозащиты будет сведена на нет. Он глубоко и надолго погрузился в медитацию. В этом у него был большой опыт. С помощью специального упражнения, длившегося два дня, ему удалось зарядить себя и замкнуть свое существо в себе, словно ядро атома. Он с душевным весельем приготовился к отражению нападения. Но одного этого было, конечно, недостаточно: надо было на всякий случай подготовить и контрнаступление. Но как атаковать огненно-рыжего? Князь Гиорги спокойно перебрал в уме все возможные средства. Может быть, лучше всего прибегнуть к помощи магии? Но атмосфера ГПУ была насыщена темными оккультными силами. Мастера ГПУ это, правда, не признавали, но тем не менее эти силы действовали постоянно. Итак, что же все-таки предпринять? И князь решился на применение эффективного средства. Сначала он зримо представит себе внутренний образ Вельского. Как достичь этого? Он снова задумался. Первобытный человек изображал облик своего врага, прокалывал его чем-нибудь, принося таким образом гибель изображенному. Значит ли это, что для магического действия самодостаточен способ простого изображения? Отнюдь нет, — подумал князь. Если бы это было так, то можно было бы использовать простое световое изображение. Первобытный человек с помощью изображения фиксировал увиденный им внутренний образ пресле-

дуемого — лишь так он достигал цели. Это изображение ни материально, ни нематериально, его можно было назвать одухотворенным изображением. В растении такой образ дремлет в виде прарастения, осуществляясь в нем, но оно как бы парит над ним, оторванное от него. Две целые лягушки в полвеличины нормальной лягушки, выросшие из разделенной эмбриональной клетки, носят в себе нерожденую лягушку: она продолжает жить в них, но она невидима, неуловима. Она таким образом существует как реальность в образе, т. е. другими словами: она и существует, и не существует. Точно так же следует представить себе внутренний образ человека, — подумал князь Гиорги. Когда человек находится «вне себя», то этот образ, атмосферически уплотненный, витает вокруг человека. Чем сильнее это «вне себя», тем «плотнее» образ. Представим себе лицо убийцы, только что зарезавшего своего врага. Проницательный взгляд по этому лицу сразу же увидит тот образ убийцы. Для принятия эффективных мер необходимо каким-нибудь путем выманить изнутри этот образ: или смутив его чем-нибудь, или напугав его каким-либо образом. Но это еще не все. Этот образ следует духовно-эфирно ранить, нанеся ему удар с помощью остроконечного пламени. Лучше всего этот удар действует сразу же после какого-нибудь сильного потрясения. Наполеон перед предстоящим сражением впадал в короткий каталептический сон. Проснувшись, он ощущал в себе демоническую силу. Что-то от этого необычного состояния было уже в храмовом сне древних египтян, — подумал князь. Созревший для посвящения погружался в магический сон. Очень медленно все в нем начинало отмирать, и лишь одну молекулу своего «я» он хранил в постоянном бдении. Она держалась на грани жизни и смерти. Но именно на этой грани она воспринимала первоисточники бытия. Затем в нем мало-помалу начинала расти эта оплодотворенная первоисточниками молекула, возвращаясь к бытию. Пробужденный был теперь посвященным, то есть он уже не являлся лишь знающим: его знание носило теперь в себе непосредственную творческую функцию.

Так размышлял князь Гиорги. В течение своей богатой событиями духовной жизни он несколько раз погружался в подобный сон. Это было очень давно.

Мог ли он теперь, находясь в ГПУ, вызвать в себе такое душевное состояние? Если ему это и удастся, то одного он все же не сможет добиться: повредить Вельскому в основе основ его солнца, а это казалось ему для его метода принципиально важным, ибо он не был уже собственно мужчиной. Таким образом, возможность для контрнападения, как казалось ему, для него отпадала, и оставалось лишь позаботиться о самозащите. Он был уверен, что Вельский постарается повредить само ядро его сущности. Итак, он должен был оказать этому противодействие. Но каким образом? Одно было ясно князю Гиорги: лишь тот, кто без малейшей надежды на спасение раз и навсегда преодолеет в себе страх перед грозящей ему смертной казнью, сможет сохранить в ГПУ силу духа. Как же добиться этого, постоянно находясь под дамокловым мечом страха смерти? О, тайна бытия! Этот страх! Ведь он говорил о еще не достигнутой им окончательной зрелости, ибо для совершенного существа смерть — лишь исполнение, осуществление сокровенного. Этот страх теперь как раз и помогал ему осознать себя и свое положение. Смертная казнь? Расстрел? Это короткая и легкая «операция» по сравнению с хрипящей агонией в постели, — думал князь. Он, правда, чувствовал, что это принижало его достоинство, но другого средства самозащиты он не находил. Его снова вызвали на допрос.

Вельский сидел, явно расстроенный, за столом в своем маленьком кабинете. Он не мог постичь, как удалось этому человеку, Левану Орбели, в мгновение ока подчинить его своей воле. Он пытался вернуть себе самообладание. Он осуждал себя за то, что так легкомысленно, ни о чем не подозревая, вступил в игру, мастерски исполненную его противником. Ничего, — успокаивал он себя, — как-нибудь переживу и это. Крепость, в которой его противник окопался вместе со своими помощниками, уже окружена. Скоро он вместе с Чашей Грааля будет задержан и, беспомощный, предстанет перед неодолимой силой ГПУ. Пусть он тогда еще раз попробует испытать на нем, Вельском, свои чары: они тут же, на месте, будут рассеяны. — Огненно-рыжий кровожадно потирал руки в предвкушении мести. И все же он чувствовал себя в глубине души по-

дорванным. Что же это все-таки было? Раздетый донага и привязанный к дереву, он был не просто оголен, а все его существо было вывернуто наизнанку. В сложном сплетении чувств он ощущал себя уязвленным и ущемленным. Уже лишь одно только воспоминание об этой сцене наполняло его отвращением и ужасом. Он даже ненавидел себя. Он пытался спасти себя от этой ненависти. Ведь душа человека не теряется вся с исчезновением телесного образа, — думал он вопреки своим материалистическим взглядам. — Телесный образ представляет собой видимую оболочку, которую сбрасываешь, как змея кожу. — И он делал все для того, чтобы почувствовать себя бодрым и помолодевшим, стараясь уподобиться змее, только что выползшей из своей кожи. И все же тоненькая струйка незаметно сочилась из раненой души новоявленного Агасфера.

Когда появился князь, Вельский мгновенно ушел в себя. Легким движением руки он предложил вошедшему сесть. Князь Гиорги спокойно, не теряя контроля над собой, сел напротив Вельского. Лицо следователя на сей раз показалось ему сумрачным и как бы чем-то меченым. По выражению лица огненно-рыжего князь понял, что с ним произошло нечто из ряда вон выходящее. Разговор начался лишь после продолжительного молчания. Тихо, почти шепотом, Вельский заговорил о дневнике князя.

— Он уже у вас? — спросил князь Гиорги, улыбаясь.

— Да, — ответил Вельский, не поднимая глаз. — Один грузин перевел мне его. Он помолчал и сказал с хитровой усмешкой. — Интересные записки.

— Вы находите? — полуиронически спросил князь Гиорги.

— Несомненно! Но... — Вельский скорчил гримасу отвращения, — как все это далеко от нашего времени!

— Поэтому я и назвал их несвоевременными, — ответил князь.

Разговор, как и в первый раз, протекал в форме остроумной беседы. Вельский пытался с помощью доверительного тона пойти на сближение с князем Гиор-

ги, но тот постоянно держал своего противника на расстоянии. Они поговорили о многом. Затем наступило какое-то странное, затаенное молчание. Вельский вдруг резко поднял голову и пронзительно посмотрел князю Гиорги в глаза.

— Итак, Грузия тоже обладает своим Граалем? — как бы из засады проговорил он.

— Да, — ответил князь твердо, но без малейшего ударения.

Вельский внимательно следил за выражением лица князя: его слова должны были вызвать смятение в душе заключенного. Мастеру ГПУ были ведомы и средства поражения человеческой души.

Он рассуждал так: все вещи космически взаимосвязаны между собой. Но что находится между вещами? Если это нечто материальное, то вещи следует воспринимать раздельно друг от друга, а это значит, что они вообще невоспринимаемы. Если же это не так, то вещи пребывают в пустоте, которую невозможно представить себе разумом. Вот почему в физике выдвинута идея эфира: утверждают, что между вещами находится нечто, обладающее одновременно и материальной, и нематериальной субстанцией. Это облегчает наше познание. Таким образом, каждая вещь существует сама по себе, но при этом она имеет выход в бесконечность. Представим себе тончайшую грань, на которой какое-нибудь существо прекращает существование и без остатка растворяется во вселенной. Эту грань называют перисомой. Некое подобие пупка, который играет в жизни человека совершенно необычную роль. Когда перисома каким-то образом бывает повреждена — иногда просто под действием недоброго слова — человек съеживается, сокращается и, отрезанный от мира, утрачивает пространственное восприятие. Так рассуждал огненно-рыжий, и рассуждение это ничем существенным не отличалось от размышлений князя Гиорги.

Итак, два мастера были готовы к противоборствованию, два противника — оба могучие и оба в чем-то ослабленные: князь — кошмаром ГПУ, Вельский — потрясением, пережитым в Саирме.

Мастер ГПУ испытующе взглянул на своего подследственного: упоминание о грузинском Граале

должно было тонко ранить его персону. Однако следователя ждало разочарование: ни единой черточкой на лице Гиорги не выдал своего волнения. Затем Вельский коснулся легенд вокруг Грааля. Почти дословно повторился разговор, который состоялся у него тогда с Леваном в поезде, но с той разницей, что князь говорил гораздо спокойнее, чем Леван. Вельский обратил на это внимание.

— Вы сделали удачный выбор, — таинственно начал Вельский.

— Какой? — удивленно спросил Гиорги.

— Выбор хранителя Грааля.

«Снова укол», — подумал князь, однако ничем не выдал себя.

— Вы имеете в виду Левана Орбели? — спросил он тихо. — Вы с ним знакомы?

— Да, — весело ответил Вельский. — Я познакомился с ним несколько месяцев тому назад. Между прочим, незаурядная личность. — Затем, переведя дух, он добавил: — Кстати, вы хорошо информировали его о Граале.

— Вы говорили с ним на эту тему?

— Почти всю ночь.

Этот человек придает Граалю исключительно важное значение. Это нельзя не заметить, — подумал князь Гиорги.

— Но дело в том, что я не информировал его о Граале, — заявил он.

— Как?

Теперь пришла очередь Вельского удивляться.

— Он говорил о Граале точно так же, как и вы.

— А почему это вас удивляет? Первообраз хранителя Грааля остается неизменным. Все хранители Грааля, не зная друг друга, думают о реликвии почти одинаково.

— Весьма способный человек, этот Орбели, — подумал вслух Вельский.

— Он более, чем способен, он наделен благодатью. Слово «благодать» не понравилось Вельскому.

— Тем достойнее сожаления, что... — сказал он между прочим.

— Что?

... Что он оказался в таком положении.



Еще один укол. Князь Гиорги взял себя в руки.

— Он уже арестован?

— Пока нет, но...

— Что «но»?

— Он скоро будет арестован.

— За что, позвольте узнать?

— Он оказал сопротивление работникам ГПУ.

— При каких обстоятельствах?

— Было решено взять из вашего шкафа Чашу Грааля. Разумеется, для того, чтобы взглянуть на нее. Ключ, как вам известно, был у Орбели...

— И что же дальше?

— Он, правда, открыл шкаф, но в последний момент он вместе с вашим сваном и вашим молодым слугой напали на работников ГПУ и обезоружили их. — Вельский искажил подробности происшествия.

Слабый луч надежды окрылил князя Гиорги.

— И что же было потом? — сдержанно спросил он.

— Он окопался со своими друзьями недалеко от вашего замка в какой-то крепости. Но до каких пор он там продержится? Крепость уже оцеплена.

Князь Гиорги незаметно для Вельского стал прислушиваться к какому-то другому, побочному голосу, исходившему от следователя. — Наверное, он сам был при этом, промелькнуло в голове у князя. «Недалеко от вашего замка», — разве он не выдал себя сообщением этой детали? И кроме того: кого еще могла в ГПУ заинтересовать Чаша Грааля? Князь Гиорги, ничем не выдавая себя, спокойно дал огненно-рыжему довести рассказ до конца.

— Одного из работников ГПУ мятежники раздели донага и привязали его к березе; это самое тяжкое их преступление... — Вельский не закончил фразу. Он уже почувствовал, что увлекшись собственными словами, сказал лишнее.

Князь Гиорги сделал вид, что не заметил допущенную его противником оплошность. Он обратил лишь внимание на слова «привязали к березе». Откуда Вельскому известна такая подробность? Он вне всякого сомнения был там, подумал князь Гиорги.

— Вот как? — произнес он с огорчением.

— Судьба хранителя Грааля решена окончательно.

но и бесповоротно, — сказал Вельский через некоторое время. Он уже чувствовал себя отмщенным.

— Вы уверены?

— А вы сомневаетесь?

Князь Гиорги промолчал.

— Спасения нет, — продолжал Вельский, — если только...

— Если только что?

Следователь ГПУ задумался.

— Если только вы лично не объявите всю эту затею бессмысленной игрой... — сказал осторожно огненно-рыжий.

Ах, вот к чему он клонит, — подумал князь и замкнулся в себе.

— Я, конечно, понимаю: для вас это означало бы определенное отступничество, — продолжал Вельский, — но когда речь идет о спасении человека, к тому же такого, как Леван Орбели...

«Итак, я должен отречься от святыни, осквернить ее — вот чего добивается от меня этот человек», — подумал князь, но лицо его оставалось непроницаемым.

— Так вы полагаете, что это в самом деле спасло бы его? — спросил он, как будто был уже готов принять предложение следователя.

— Он, конечно, будет взят под стражу, но не расстрелян, — ответил огненно-рыжий. Он уже немного повеселел.

— Могу я написать Орбели письмо? — спросил Гиорги.

— Это не положено, но ваше соответствующее заявление будет опубликовано в газетах. Мы позаботимся о том, чтобы он узнал об этом.

Следователь ГПУ не сомневался в успехе своего плана.

Отвращение душило князя, но он знал, что любой ценой надо сохранить самообладание.

— Вы думаете, что он тогда добровольно сдастся властям? — спросил он.

— Несомненно.

— В таком случае вы не знаете Орбели.

— Как это, не знаю?

— Он просто-напросто сочтет меня за малодушно-

го, не исполнившего долг чести. Он никогда не сдастся добровольно.

— Значит, он будет сражаться до конца?

— Я не сомневаюсь в этом. Он презирает любую опасность.

— Тогда с ним кончено.

— Он живет великими мгновениями, и, может быть, мгновения, переживаемые им теперь в крепости, для него самые великие.

— Великие или малые, но они будут последними.

— Нет, это будет закономерный конец его бытия.

Вельский едва заметно усмехнулся.

— Неужели он не пожалеет даже свою возлюбленную? — спросил он после короткой паузы.

— Какую?

— Вашу невестку. — Огненно-рыжий ядовито улыбнулся. Снова укол. Князь Гиорги в полном недоумении уставился на своего противника.

— Вся переписка между ней и Орбели нам известна, — продолжал Вельский.

— В этом я не сомневался, — прошептал князь.

— Вы, вероятно, ничего не знаете о связи вашей невестки с Орбели?

Вельский старался не дать передышку князю Гиорги. Тот задумался.

— Как же, знаю, — ответил он с достоинством. Догадку он выдал за уверенность. — Но связь эта не такая, какую чаще всего предполагают.

— То есть возвышенная любовь, не так ли? — издевался огненно-рыжий.

— Безусловно.

— Если бы это было так, то ему, как мне кажется, следовало бы больше считаться с ее чувствами.

— Предав Грааль, он тем самым предаст и свою любовь.

Следователь на несколько секунд потерял дар речи.

— Это, возможно, и верно с его точки зрения, — нашелся он снова. — С ее же стороны...

— Вы допускаете, что моя невестка думает иначе? — прервал его князь на полуслове.

Вельский умолк.

— Вы, как я вижу, больше печетесь о судьбе

Грааля, чем о людях, — сказал он через некоторое время.

— Посвятившему себя Граалю эта реликвия представляется как составная часть его самого, — твердо заявил Гиорги.

— И для вас тоже?

— И для меня!

— Однако еще совсем недавно вы были готовы предать Грааль, правда, идя на компромисс, но все же...

— никоим образом! Это была всего лишь уловка.

— Вы дорого заплатите мне за это.

— Я готов. Никакая сила на свете — и будь то даже сила ГПУ — не сломит и не согнет меня, — уверенно заключил князь.

Вельский в страхе отпрянул от князя Гиорги — таким несокрушимым он теперь показался ему.

Мертвые лучи заходящего солнца упали в комнату ГПУ. Легкий ветерок таинственно бродил по ней... Огненно-рыжему показалось, что пол закачался у него под ногами. У него закружилась голова. Он даже не был в состоянии четко зафиксировать лицо князя, оно, казалось, то уплывало куда-то, то снова в сиянии появлялось перед ним. Наконец-то и Вельскому удалось собраться с духом. На долю секунды его косо посаженные глаза обрели нормальный взгляд. Но как раз это редкое мгновение тайком поджидал князь: он мог, наконец, встретить взгляд огненно-рыжего, посмотрев сразу в оба его глаза, чтобы подчинить его своей воле. Встреча длилась одно мгновение. Ответственный работник ГПУ машинально отвел глаза в сторону. Его лицо теперь напоминало идола, пораженного и застывшего в зевке.

— Это вас тогда голым привязали к березе, — сказал вдруг князь, резко обернувшись к следователю.

Ресницы Вельского дрогнули. Он почувствовал себя окончательно разоблаченным. Стыд, намного сильнее вчерашнего, бесцеремонно оголил его.

— Откуда вам это известно? — пробурчал он.

— Истинно знающий не задается подобным вопросом, — ответил князь Гиорги.

Раздосадованный Вельский понял, что его послед-

ний вопрос мог быть истолкован противником как полупризнание.

— Но это было не так, — поспешил он сказать с пересохшей глоткой, чтобы исправить оплошность. Однако было уже поздно.

Князь Гиорги оставил это замечание огненно-рыжего без внимания, ибо и без того победа была за ним.

На пути к крепости к Левану и его друзьям присоединилась группа из 25 человек. Это были молодые люди из соседних деревень, которые вопреки, а может быть как раз по причине позорного поражения восстания не хотели прекращать борьбу. Они укрылись в старинной крепости, чтобы позднее, выбрав удобное время, уйти в неприступные горы. С ними был и верный пес Хасан. Крепость стояла на скалистом склоне холма, у подножия которого шумела река. Словно гигантский каменный кулак, возвышалась она над местностью наперекор все разрушающему времени. Мрачные каменные блоки полуразвалившейся крепости казались огромными дольменами.

Между дремой и бдением провели мужчины первую ночь, чутко прислушиваясь к любому шороху. Едва забрезжил рассвет, как они к своему ужасу увидели, что крепость окружена отрядом солдат и что они отрезаны теперь от внешнего мира. Будто от темного вялого сна наяву очнулся Леван, вернувшись к определенности и остроте действительности. Прошло еще немного времени, прежде чем он окончательно стряхнул с себя оцепенение. Как всегда при надвигающейся смертельной опасности, он и теперь смог сконцентрировать свой дух. Без малейшего страха и колебания обсудил он со своими соратниками создавшееся положение. Непоколебимое спокойствие, исходившее от его слов, не могло не подействовать на них. Все единодушно заявили, что доверяют ему руководство дальнейшим ходом событий. Лихорадочно заработала мысль Левана, но в глубине души он сохранял спокойствие и твердость.

Что делать? Действовать, не терять в бездействии ни секунды, следуя лишь моментальным озарениям. В мгновение ока он оценил обороноспособность крепости. Она, хотя и лежала в полуразвалинах, но все же своими огромными квадратами производила впечатление ка-

кого-то убежища. Однако огонь артиллерии она, конечно, выдержать не могла. Хладнокровно поразмыслив, Леван понял это. Если после артобстрела одна из стен обрушится, то всем придется, улучив момент — так рассчитывал Леван, — уйти в подземелье, вырытое под крепостью в самой скале. Там можно будет надежно укрыться. Осаждающие тем временем, по-видимому, попытаются завладеть руинами крепости. Тогда следует осторожно, но смело решиться на вылазку, чтобы из-за надежных укрытий — в этом случае шансы обороняющихся становились предпочтительнее — открыть огонь по нападающим. Положение не такое уж безнадежное, — решил Леван. В одном из погребов они нашли в большом количестве оружие всех видов, оставшееся от неудавшегося восстания. Были и медикаменты. Оставалось лишь решить проблему съестных припасов. Ее могли взять на себя несколько юношей во главе с Басила. Они знали все потайные ходы, ведущие к крепости, и легко и быстро карабкались по извилистым лесным тропкам. Но до каких пор смогут продержаться осажденные? Может быть, две-три недели — не более. А что будет потом? Этот вопрос поверг Левана в отчаяние. Крепость имела подземный ход, который по всей вероятности вел к реке. Однако он был завален, так как им давно уже никто не пользовался. Его надо было как можно быстрее расчистить. А как воспользоваться подземным ходом? Беглецов ведь могут настигнуть у самого выхода, если он даже сделан под рекой. И вдруг Левану пришла в голову мысль: на любого человека, даже в минуты его высшей активности вдруг находит какое-то оцепенение чувств. Подобное оцепенение находит и на массы людей. Надо ошеломить нападающих именно в этом состоянии. Пригодится ли для этой цели способность ясновидения? Несомненно. В состоянии осады нервы у повстанцев превратятся в таинственные, сверхчувствительные щупальца. Все это с быстротой молнии промелькнуло в его голове. Затем Леван сообщил своим друзьям план действий на ближайшие дни, который они одобрили. К счастью, выяснилось, что некоторые из них были обучены военному делу. Все с упорством и мужеством начали готовиться к обороне.

Люди, окружавшие Левана, не были лишены чув-

ства юмора — этого божественного дара, способного поднять дух даже в самой безнадежной ситуации.

Сначала осаждающие потребовали, чтобы мятежники вышли из крепости с поднятыми руками и сдались. Из крепости последовал ответ: «Мы поднимем руки или для приветствия, или же повелевая». Тогда солдаты начали штурм крепости. Они открыли по крепости огонь артиллерийскими гранатами. Осажденные ответили не менее мощным огнем и тем же оружием. Осаждающие озадачились: они полагали, что взяли в кольцо несколько человек, а здесь их встречает стена огня и оглушительный треск разрывающихся снарядов. И вторая их атака была отбита защитниками крепости.

Леван чувствовал, как с каждым мгновением сопротивления росли его силы. Так, в постоянном бдении и напряжении всех сил прошло несколько дней. Осажденные не теряли ни минуты, укрепляя свои позиции. В передышках между атаками Леван беседовал с товарищами. Он умел говорить с людьми на их языке. Он поведал им о героическом прошлом Грузии, рассказал легенду о крепости, которую они сейчас защищали. В основе ее лежит исторический факт, лишь со временем ставший яркой легендой. Много веков тому назад здесь так же, как и теперь, укрывались окруженные врагами люди. Кто они? Это были их братья по крови и духу. Их зов заговорил в крови наших бойцов: к ним приближались тени героев седой старины. Тени обрели плоть. Неразделенность судьбы связала осажденных сегодня с героями далекого прошлого. С каждым действием росли их силы, превращаясь в несокрушимый монолит. Боевой дух защитников крепости не иссякал, а креп с каждым мгновением. Леван рассказывал дальше, воодушевляясь и воодушевляя. Взволнованно и робко извлек он из вереницы величайших подвигов и легенду о Граале. Рядом с ним в углу лежал ларец со Священной Чашей. Горели свечи. Легкая дрожь охватила мужчин. В двух-трех сокровенных словах Леван коснулся священного, героического образа Грузии: Лашари. Светоносный герой, незримо присутствуя, охранял Грааль — даже здесь в крепости, и это чувствовал каждый из ее защитников. И вот теперь перед ними стоял человек, их предводитель — такой же светонос-

ный, как Лашари, ибо являлся его отпрыском. Глубо-  
кое молчание осенило мгновение.

По правую руку стоял Басила, готовый по первому  
знаку Левана пожертвовать своей жизнью, по левую—  
Кансав, несокрушимый, словно скала.

Так прошло несколько дней, полных напряженного  
ожидания внезапного чуда. Воля Левана стала твер-  
дой, как камень. Но один раз и ему пришлось про-  
явить слабость. Из лагеря осаждающих однажды вече-  
ром послышалась песня. Она раздавалась легко и сво-  
бодно. Обитатели крепости взволнованно слушали пе-  
сню, однако скоро не выдержали и начали подпевать.  
Леван был потрясен: эту песню, струившуюся одной  
радостью бытия из неделимой народной стихии, пели  
теперь непримиримые враги. Неужели и в том, и в дру-  
гом стане, невзирая на вражду, еще жила эта недели-  
мая народная стихия? В душе Леван был рад слезам,  
текшим по его бледным щекам. Но никто не должен  
был их видеть, и он отошел в сторону. Через некоторое  
время Хасан, которого Басила дрессировал, как видно,  
не напрасно, принес в зубах письмо от Норины, каждое  
слово которого дышало любовью, в каждой фразе кото-  
рого ощущалось кипение горячей крови. Леван прочел  
письмо возлюбленной до конца, и неистовое, всепрони-  
кающее тепло наполнило его тело. Он прочел письмо  
еще раз. Теперь между строк он ощутил биение сердца,  
тайно подтачиваемого страхом за него. Он впервые по-  
чувствовал себя оторванным от возлюбленной — мо-  
жет быть — навсегда. Но провести эту разделитель-  
ную черту четко, сознательно, бесповоротно душа его  
пока не решалась. Со стесненным сердцем прислонил-  
ся он к покрытой мохом каменной глыбе.

Тем временем отголоски борьбы за Священный  
Грааль дошли до самых отдаленных уголков Грузии. И  
 снова, в который раз, сердце страны — Тбилиси — трепе-  
тало. На сей раз речь шла о спасении святая святых  
 страны — Чаши Грааля. Тысячи и тысячи людей узна-  
 ли таким образом впервые, что она действительно су-  
 ществует и хранится в Грузии. Иные же диву дава-  
 лись: то, что когда-то нашептывалось им как сказка,  
 обрело живую, дышащую плоть реальности. Все вдруг  
 ощутили, что в их крови струятся священные перво-  
 родные истоки жизни. Тем сильнее был страх за эти



истоки, страх, что они могут иссякнуть. Леван, будучи одним из этих истоков, далеким и близким, стал теперь для каждого кровным братом, пришедшим сюда из далеких глубин народного бытия. Имя Левана Орбели стало для всех определяющим символом.

Его друзья уже прибыли в Тбилиси и среди них самые близкие: Одилиани и Авала. Все ежеминутно думали о том, как помочь Левану. Однако все пути, казалось, были закрыты. И все-таки Одилиани и Авала нанесли визит одному из руководителей партии по имени Лега в его кабинете. Лега был одним из тех трех большевиков, которым был поручен массовый расстрел повстанцев. Способный, целеустремленный, с инстинктом, граничащим с ясновидением, темпераментный и в то же время твердый, он искренне верил большевикам. Он никого не щадил, не исключая и самых близких родственников. Но при всем том у него была одна слабость: он увлекался лирикой. Еще примечательнее было то, что он ее понимал. Он ценил поэзию Одилиани и Авала гораздо выше писаний своих товарищей по партии. Одилиани и Авала дружили с ним. Как? Дружба с большевиком? В Грузии, в глубочайших слоях ее быта всегда царила родовая привязанность, классовая же, или подобная ей, борьба не была характерной. Так, по-видимому, обстояло и с Одилиани и Авала. Они, правда, не были большевиками, но честно трудились при Советской власти, и это обстоятельство если и не облегчало, то оправдывало их решение просить помощи у Лега. К этому следует прибавить еще один весьма немаловажный факт: оба они воспринимали Священную Чашу как чисто поэтический символ и из любви к Левану очень сожалели обо всем, что с ним произошло. Благодаря этой позиции их шансы по сравнению с шансами князя Гиорги в деле заступничества за Левана были предпочтительнее. Конечно, и князь Гиорги отдал бы все, чтобы спасти Левана, но он не мог пойти на компромисс, ибо Леван был ему дорог именно как хранитель Грааля.

Лега весьма холодно ответил на приветствие друзей.

— Я знаю, о чем вы пришли просить меня! — закричал он, свирепо глядя на них.

Одилиани, опустошенный, убитый горем, смог все же с присущей ему непринужденностью ответить — Тем лучше. Значит, ты избавишь нас от лишних слов.

Лега чуть заметно усмехнулся. Авала сидел тихо и кротко, весь превратившись в мольбу.

— Этот ваш друг Орбели превосходно разыгрывает героя, не так ли? — сказал с иронией Лега.

— Он вообще никогда не играет, — ответил Одилиани.

— Что? Да он постоянно устраивает спектакли, и теперь делает то же самое. — Лега разгорячился. — Как иначе назвать всю эту бредовую затею с Чашей Грааля, вокруг которой поднят такой шум? Жалкая комедия и только!

— Бредовая ли это затея с Чашей Грааля, тебе лучше спросить у Вельского, который во что бы то ни стало стремится заполучить ее как трофей, — сказал Одилиани с легкой успешкой. — А если это действительно комедия, то почему бы вам не дать Левану доиграть ее? Или она тоже мешает Советской власти?

— Как ты смеешь так дерзко говорить со мной?

— Может, мне обратиться к тебе в строгой форме сонета?

— Ты, я вижу, сегодня в хорошем настроении.

— В противном случае меня бы здесь не было.

Лега умолк, нервно постукивая концом карандаша по столу.

— Итак, вы оба хотите, чтобы я облегчил участь вашего друга? — спросил он холодно.

— Да, именно за этим мы пришли к тебе, — подтвердил Одилиани.

— Он оказал сопротивление нашим людям...

— Тем, кто хотел насильственно овладеть Чашей, по твоим словам, безделушкой. Комедию разыграли как раз они.

— Ты слишком далеко заходишь.

— Я всего лишь констатирую факт.

Лега промолчал. Конечно, кое-что из того, что сказал Одилиани, он находил справедливым. Он лишь делал вид, что не соглашается со своими друзьями. Гневный тон он использовал для прикрытия. Одилиани все это знал, продолжая дразнить Лега.

— Итак, было оказано сопротивление, — попытался подытожить свои доводы большевик. — То, что связано с конфискацией Чаши Грааля, вас не касается. Вам обоим должно быть известно, что большевистская власть подавляет любое сопротивление. — Он перевел дыхание и сказал чуть мягче: — Я очень сожалею, но помочь ничем не могу.

Лега встал. Это означало, что аудиенция окончена.

— Ты сегодня все время молчал, — обратился Лега к Авала, прощаясь.

— Я не в состоянии говорить, я потрясен, — тихо прошептал тот.

— Мне очень жаль, — сказал Лега еще тише.

Когда оба поэта вышли на улицу, Авала упрекнул Одилиани:

— Ты слишком много подшучивал над ним.

— Я делал это намеренно, — ответил Одилиани.

— Как так?

— Дело в том, что Лега совершенно расстроен из-за этой истории с Граалем. Она испортила кровь и другим руководителям большевиков. Я абсолютно уверен, что мотивы, которыми руководствуется Вельский в этом деле, нашему другу совершенно чужды и, даже предполагаю, что этот огненно-рыжий раздражает его.

— Ну и что из этого следует?

— Дразня его, я, собственно, преследовал одну цель: дать волю его раздражению. Разве ты не понял, что он злился на Вельского? Я уверен, что Лега свалит все это дело на огненно-рыжего.

— И это поможет Левану?

— Конечно! Лега не станет слишком усердствовать в борьбе против Левана, хотя и не любит его, ибо видит в нем какого-то особенного, непримиримого врага.

— Это верно. Но, с другой стороны, эта особая вражда между ними может проявиться как-то иначе. Послушай-ка! Ты ведь знаешь, что я охотник, к тому же неплохой. Прошлой зимой я преследовал волка, который совершенно околдовал меня своим необычайным ростом, силой, чутьем и хитростью. В один прекрасный день мне удалось убить его. Как охотник, я не мог не радоваться такой удаче, но вместе с тем — и это было странно — я почувствовал неодолимую печаль.



— Чудесно! — воскликнул Авала. — Ты хочешь сказать, что Лега не так легко решится на то, чтобы допустить гибель Левана?

— Разумеется! Я знаю Лега лучше, чем ты, — подтвердил Одилиани. — Конечно, и Леван должен быть готов к какому-то компромиссу, — добавил он.

— Это исключено!

— Ты так думаешь?

— Я абсолютно уверен в этом.

— Тогда он погибнет.

Наступило тягостное молчание.

— Знаешь что, — возобновил Авала разговор, — отрядом солдат, оцепивших крепость, командует Бессиа. Он крещен вместе с Леваном и считает его своим крестным братом. В руководящих большевистских кругах об этом ничего не знают.

— Ты полагаешь, что он предпримет что-нибудь для спасения Левана? — спросил, оживившись, Одилиани.

— Мне хочется верить в это. Я даже допускаю, что он предоставит Левану возможность для побега, но потом сделает вид, что отчаянно преследует его. В этом он настоящий мастер.

— Дай-то Бог! — прошептал Одилиани.

Маленькая надежда ободрила друзей.

Своим безошибочным инстинктом поэта Одилиани угадал душевное состояние Лега. Этот жестокий большевик был раздосадован тем, что ему приходилось заниматься какой-то крепостью, поставившей под сомнение его принципиальность. Вельский, начавший всю эту кампанию против Грааля, не согласовал с ним своих действий. Это вызвало у него гнев. Но пути назад уже не было. Дело это подлежало скорейшему завершению. Но каким образом? Единственно возможный выход заключался в том, чтобы большими силами немедленно взять крепость штурмом. Но судьба Левана — Одилиани не ошибся и в этом — действительно занимала большевика Лега. Он передавал Бессиа каждый раз один и тот же приказ: взять крепость! Но к приказу он неизменно добавлял, что было бы, мол, желательно, чтобы мятежники сдались добровольно. Он все еще надеялся, — ибо в нем говорил не только карающий долг, но и смутное, в глубине души дававшее о себе знать, желание спасти таким образом жизнь хранителю Грааля,



— что Леван под давлением обстоятельств будет вынужден сдаться. Он долго колебался, не зная, что предпринять. Сразу же после визита обоих поэтов его вызвал к себе лидер большевиков Закавказья С. О.

— Что это, черт подери, за история с крепостью? — спросил он холодно и раздраженно.

— Об этом следовало бы спросить Вельского, — ответил Лега без холода, но тоже с раздражением в голосе.

— При чем тут Вельский? — кричал С. О. на своего молодого подчиненного.

— Тебе поручено как можно скорее покончить с этой историей. И что же я вижу вместо этого? Мы в считанные дни управились с целым восстанием, а маленькая крепость продолжает оказывать нам сопротивление!

— Ее не так-то легко взять штурмом. Она крепка, ибо строили ее наши предки! — Лега едва заметно усмехнулся при этом. Он недвусмысленно намекал на то, что оба они происходили из аристократического рода, всегда являвшегося заступником народа.

— Что? — рассвирепел С. О.

Лега промолчал. Он, правда, был большевиком, но не только им. Другое дело С. О.: хотя он и родился в Грузии, но был он только большевиком. Это Лега упустил из виду.

— Что за чепуха? — набросился на него единовластный хозяин Кавказа. — Ты ответишь мне, наконец, почему это дело так затянулось?

— На это тебе лучше ответит Вельский, — спокойно ответил Лега.

— Опять этот Вельский! — С. О. грозно сдвинул брови. Он тоже недолюбливал огненно-рыжего. Он ощущал в нем какую-то страшную, почти чуждую ему силу и никогда ничего не понимал из того, что затевал Вельский. Он иногда спрашивал себя, почему, собственно, этот человек работает в ГПУ, в этом карающем органе большевистской власти. Однако одному Богу известно, что этот Вельский намеревается сделать из этого органа. Он недоумевал: закулисная сторона власти Вельского была от него скрыта. ГПУ — это тайный орган, и он, видимо, поэтому способствовал той таинственности, которая была характерна для деятельности

такого его работника, каким являлся Вельский. С. О. не мог до конца разобраться в этой путанице. Так или иначе, но Вельского он не любил, ибо испытывал какой-то неосознанный страх перед ним, тем более, что тот держал в своих руках тайные нити, тянувшиеся в Москву.

— Чем сейчас занимается Вельский? — спросил С. О., задумавшись.

— Он сейчас делает все для того, чтобы сломить волю князя Гиорги.

— Какую цель он преследует этим?

— Он добивается от него отречения.

— От чего?

— От Священной Чаши Грааля, как от реликвии, и признания в том, что вся эта затея не что иное, как бессмысленный фарс.

— Гм... А последнее для чего ему понадобилось?

— Этим он намеревается сломить боевой дух Орбели.

— Он, видно, решил взять Орбели живым и вместе с ним эту идиотскую чашу?

— Совершенно верно!

— Гм... Я вижу, он не меньше, чем этот мистик Орбели, сходит с ума по этой безделушке. Но это в конце концов едва ли меняет дело.

— Мне тоже так кажется.

Оба умолкли. С. О. задумался.

— К черту Вельского! — вскричал он вдруг, словно рассердившись на себя за то, что задумался. — Его опыт слишком затянулся, а мы тем временем привлекаем внимание. Его налитые кровью глаза источали гнев. — Немедленно очистить от мятежников крепость! — приказал он. — Распорядись, чтобы крепость была незамедлительно взорвана! — В словах С. О. сквозила кровожадная воля.

Лега испугался, но промолчал, ибо возражать разгневанному С. О. было безумием.

Он в спешном порядке разыскал Вельского, чтобы передать ему приказ. Он надеялся, что огненно-рыжему удастся добиться своего у начальника.

Узнав о приказе, Вельский помрачнел, но тут же пришел в себя. Он снял трубку правительственного телефона. Разговор с С. О. продолжался недолго. Вель-



ский что-то пробурчал в трубку, и Лега не смог ничего разобрать.

— У нас остается еще один день. Затем надо отдать приказ, — сказал он без особого энтузиазма.

— Хорошо. — Лега простился с Вельским. Его раздражало и в то же время несколько забавляло, что в эти минуты он был «заодно» с огненно-рыжим.

Через четверть часа князь Гиорги снова сидел перед Вельским. На сей раз допрос проходил кратко и строго.

— Вы все еще отказываетесь сделать предложенное мной заявление по поводу Грааля? — спросил огненно-рыжий сурово и с раздражением.

— Я уже сказал свое слово, — ответил князь Гиорги спокойным тоном.

— Тогда Орбели ждет смерть.

— Зато Грааль будет спасен.

— И Грааль, и его хранитель обратятся в прах.

— Но из этого праха возродится свет, который нельзя уничтожить.

Вельский неподвижно уставился на князя. Он лишь теперь понял, что взял на себя нелегкую задачу.

— Даю вам одну минуту на размышление, — продолжал Вельский. — Принято решение еще сегодня взорвать крепость.

У князя Гиорги закачался пол под ногами. Его взгляд непроизвольно упал на указательный палец правой руки. На нем странно сверкал большой опал, словно греясь своим собственным, внутренним светом. Этот камень, который остался при нем по чистой случайности, был для его обладателя доверительным другом, его амулетом. Князь Гиорги резко смежил утомленные веки.

— Вы готовы, наконец, сделать заявление? Да или нет? — выходил из себя Вельский.

Князь Гиорги застыл, словно был в состоянии сна. Обрадованному Вельскому показалось, что он усыпил князя силой своей воли. Словно отчаявшийся игрок, направил он на князя Гиорги магнетические токи.

— Да или нет? — закричал он еще раз. Затем шепотом, резко: «Да, да!»

Князь Гиорги безмолствовал; он впал в глубокую

летаргию. Но какая-то молекула еще бодрствовала в нем. На миг перед ним сверкнул ослепительный солнцем образ хранителя Грааля, словно он уже превозмог ханье смерти.

— Да или нет? — настаивал враг. — Да, да! — навязывал он ослабевшему свою волю.

— Нет! — решительно произнес князь Гиорги; он пришел в себя от короткого летаргического сна.

Вельский в испуге отшатнулся от него: он увидел перед собой победителя. Едва уловимая волна света блеснула по страдальческому лицу князя.

— Чудовище! — Вельский лихорадочно ловил ртом воздух. Князь Гиорги продолжал безмолствовать. Об его спокойствие разбился гнев мастера ГПУ.

В тот же день Бессиа получил приказ взорвать крепость.

Бессиа был весьма далек от большевизма; и все-таки он стал большевиком. Во время гражданской войны в России он оказался между частями Красной и Белой Армии. Последняя сражалась за возрождение бывшей Российской Империи. «За единую, неделимую Россию» — таков был ее лозунг. Как грузин, Бессиа не мог принять этот лозунг. В душе он противился и большевизму. Однако его вожди посулили народам распавшейся империи независимость. Это оказалось решающим для Бессиа. К тому же большевизм привнес что-то новое, что влекло к нему Бессиа. Крепкий, гибкий, как сталь, ясный, как день, воинственный и агрессивный, он был рожден для ратных подвигов. Он был превосходным наездником и отличным стрелком. Прирожденный воин, он мог бы стать героем, если бы не его страсть к приключениям. Немного досадуя на свой малый рост, он зато гордился своим бурбонским носом. У него был сильный, пронзительный взгляд сокола. Но это не был взгляд кровожадного хищника. После советизации Грузии он убедился, что обещанная большевиками национальная свобода была лишь декларацией, пустыми словами, а то новое, что привлекало его в большевизме, со временем обратилось в рутину повседневности. Что же теперь ему делать? Повернуть вспять? Это было не в его натуре. Так он остался в

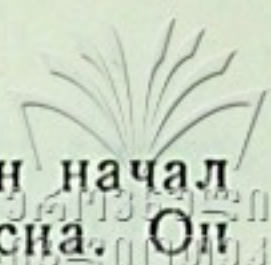


рядах армии новой власти. Но он был скорее при-  
мкнувшим, нежели энтузиастом.

Он любил Левана любовью, граничащей с благо-  
говением. Он считал, что Леван — человек не от мира  
сего. И вот обстоятельства сложились так, что против  
этого человека ему приходилось вести непримиримую  
борьбу. Он все еще с легким сердцем надеялся на то,  
что время в конце концов само как-нибудь благополуч-  
но распутает этот роковой узел. И тут он получает  
приказ: взорвать крепость. Сердце его лихорадочно  
забилося. Он с ужасом представил себе Левана, сдав-  
шегося на милость победителя. Он глубоко задумался.  
Может быть, Левану все же удастся вырваться на сво-  
боду через потайной ход, который, как он слышал,  
прорыт под крепостью? Взволнованный и уставший  
велел он своей части подложить взрывчатку под стены  
крепости. Он был лишь слепым орудием. Работа нача-  
лась. На мгновение он вдруг вернулся к прежнему  
Бессиа: не лучше ли перейти на сторону осажденных,  
чтобы вместе с Леваном умереть героической смертью?  
Так поступил бы Леван. Бессиа любил Левана именно  
за эту готовность к самопожертвованию во имя идеи —  
но ведь это было безумием! Бессиа, считавшийся од-  
ним из самых отважных грузин, чувствовал, что не по-  
шел бы на ту крайность, на которую легко решался  
Леван. Эта мысль светилась в мозгу Бессиа не больше  
мгновения: и снова «ослепло» орудие.

Смертельно испуганные, смотрели осажденные, как  
минировалась их крепость. К артиллерийскому обстре-  
лу они уже привыкли, но не к такой работе, означав-  
шей для них смертный приговор. Многие пали духом.  
Леван молчал и думал. Теперь он не видел другого вы-  
хода, кроме одного: с боем прорваться сквозь нависшую  
над ними опасность. Он не спал всю ночь; он думал о  
том, как вырваться из окружения. Страх, этот роковой  
червь, должен быть во что бы то ни стало преодолен.  
Леван пока еще боялся заглянуть в будущее. И все  
же временами из темного небытия навстречу ему заго-  
рался луч света. Этот свет помог ему превозмочь  
страх. Чему быть, того не миновать, — решил он.

На следующий день он получил сообщение от Но-  
рины о том, что осаждающей частью командует Бессиа.  
Это передал ей под большим секретом Хыдыр. И еще



раз в нем засветилась надежда на спасение. Он начал разбирать положение, в котором оказался Бессиа. Он думал сейчас точно так же, как думал совсем недавно сам Бессиа. В воздухе носилось: «А что, если...» Но было бы безрассудством полагаться на это. «А что, если...» Надо было действовать, действовать каждую секунду. Может быть, бежать? Но расчистка потайного хода еще не была закончена. Так что же все-таки предпринять? Наконец Леван принял твердое решение и, собрав всех товарищей, сообщил им о нем.

— Крепость минируется. Вы это уже знаете, — сказал он обреченно. — Она будет взорвана. Надежды на спасение нет. — Затем он проговорил сокрушенно: — Нам придется сдаться, — полные страха, люди молчали. Что-то острое, ядовитое пронзило их тела.

— Но кто-то один должен остаться здесь, — продолжал Леван, — если народ покорится своим поработителям, то его внутренняя сила будет подорвана. Но если хоть один человек не сдастся, то первоначальный народный дух будет спасен. Один из нас должен пожертвовать собой. И этот один — я!

И снова молчание. Теперь к страху людей примешалась глубокая печаль. Со слезами на глазах стоял Басила с правой стороны от Левана, с левой же — Кансав, охваченный невыразимым унынием.

— Не горюйте! — обратился Леван к товарищам. — Вас сошлют на несколько лет в Сибирь или еще куда-нибудь. Отбыв срок, вы вернетесь к вашим стадам. Вы честно исполнили свой долг, — Он сделал паузу. — Обо мне не беспокойтесь. То, что я пережил здесь вместе с вами, — величайшее счастье. Это счастье в состоянии превозмочь даже смерть. Только ради этого высшего мгновения стоило жить. Я остаюсь здесь с нашим Граалем. Перед смертью я предаю его священному огню, чтобы нечистые руки не коснулись его. Но он будет жить в неугасимом сердце Грузии, и светозарный Лашари будет его верным хранителем.

Никто не осмеливался произнести ни слова. Сердца людей лихорадочно колотились.

— Этот миг навеки скрепляет наши души, — сказал Леван. — Никакая земная сила не изгладит его из памяти народной. Он пребудет в веках. Ничто не раз-

лучит нас; а пока мы лишь на время расстаемся друг с другом.

Леван умолк. Он уже не был в состоянии говорить. К горлу подкатывался ком, душивший его, но он собрался с духом. Соратники стояли перед ним, затаив дыхание. Никто не решался поднять глаза на своего предводителя. Теперь он казался им еще более чужим: он уже не был человеком, он был лишь пламенем, но пламя это дышало любовью. Товарищи еще долго молча стояли перед ним, боясь шелохнуться. Молчал и Леван. Воцарилась глубокая торжественная тишина. И вдруг Басила, обращаясь к товарищам, сказал: — Хорошо. Мы сдадимся, но Левана надо спасти. Мы соорудим в развалинах укрытие из камней. Там Леван спрячется со Священным Граалем. А врагам мы скажем, что он ночью ушел через потайной ход.

Надежда еще раз улыбнулась борцам. Слова Басила, конечно, трогают, — подумал Леван. Но вместе с тем он почувствовал, что это по-детски наивное и светлое предложение сводило на нет его решение.

— А если обман раскроется? — глухо прошептал кто-то.

— Тогда все еще остается решение, принятое Леваном, — ответил Басила.

Слова юноши вернули Левана к жизни, к самому себе.

— Хорошо, — согласился он. — Попробуем!

С невероятной быстротой было найдено подходящее место для укрытия. Его трудно было заметить, ибо сверху его забросали камнями, валявшимися в избытке вокруг. Затем все преклонили колена перед ларцем, в котором хранился Грааль, помолились и поцеловали его. Леван простился с каждым товарищем отдельно. Соратники смотрели на него, как на существо, явившееся им с другой планеты. Вдруг он на глазах у всех совершенно переменился. Когда он подошел к Кансаву, то увидел, что могучий нестигаемый сван рыдал.

— Князь Гиорги служил Граалю, — пробормотал он взволнованно. — Я служил своему господину. Теперь ты — хранитель Грааля. Я останусь с тобой.

Леван не находил слов. Его глаза были полны слез.

ГПУ. Затем Бессиа с тремя подчиненными начал обшаривать крепость. Три сердца сжимались от страха в каменном укрытии. Двое из них стучали сильнее третьего, ибо третий — Леван — все еще надеялся на «мамлюка», как он называл Бессиа. «Удалось ли ему бежать? — спрашивал себя «мамлюк». — Хорошо, если да. А если нет?» Он боялся за Левана. С деланным усердием осматривал он крепость. Наконец он дошел до подземелья, в котором притаились трое, остановился и прислушался к биению своего сердца. И вдруг он начал видеть внутренним зрением. С ним это случилось во время игры в баккара<sup>1</sup>. Он должен быть здесь, — словно луч, промелькнуло в его мозгу.

— Может быть, расчистить эту грудку камней? — спросил один из его группы.

— Я сам займусь ею, — ответил Бессиа. — А вы проверьте вон те стены. Леван вздохнул. Бессиа остановился. Он весь дрожал.

— О, жизнь! — тихо прошептал он.

— Добрый мамлюк! — сказал Леван про себя. Может быть, тайный друг услышал ответ?

Смертельная опасность обошла Левана и его друзей.

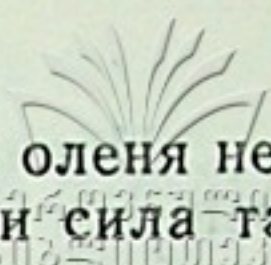
## C O R A R D E N S <sup>2</sup>

Вся деревня очень скоро узнала, что осажденные сдались властям, и то, что Леван, Кансав и Басила ушли в горы, взяв с собой Грааль.

Вне себя от радости бродила Норина в окрестностях деревни. Вдруг она с ужасом остановилась: перед ней лежала мертвая собака. Верный, добрый Хасан! Наверное, его настигла пуля тех, кто осаждал крепость. Норина нежно погладила преданное животное. Кровь, текшая из его левого уха, запеклась в темно-красный комок. Норина еще несколько секунд с болью смотрела на собаку. И вдруг она заметила в ее чуть приоткрытой пасти клочок бумаги. Она вытянула его. Это была записка от Левана: «Ты помнишь, Норина, нашу про-

<sup>1</sup> Род азартной карточной игры.

<sup>2</sup> Пылающее сердце, лат. Название стихотворного сборника В. Иванова, который, конечно, был известен Г. Робакидзе (Примеч. переводчика).



гулку по лесу? Я тогда пил молоко из вымени оленя небесного. Я ощущал в себе неодолимую силу; и сила та была и плод, и свет. Теперь я как никогда готов совершить «прыжок оленя». Знаешь ли ты, что это означает? В твоей бесконечной любви я черпаю силы для «прыжка». Это высшее мгновение, в котором, оторванный от тебя, я чувствую, что соединен с тобой навеки! Может быть, Божественное на этой земле является нам в образе человека? Не угасает ли оно с уходом человека из жизни? Нет, оно возвращается к своему первоисточнику. Этот миг, дыханием которого мы являемся — ты и я — пребудет вовеки». В словах Левана сквозил странный даже для него тон. Но больше всего настораживал способ передачи записки. Норина почувствовала, как в ней поднимается волнение: но не от приближения возлюбленного, а от расставания с ним. В смятении выехала она в Тбилиси.

Лица людей в столице сияли. Все уже знали о спасении Левана. Страна была парализована, но неоскверненным оставался ее священный символ — Грааль. Поступило сообщение о том, что Леван благополучно пересек границу. Для Норины, общавшейся теперь большей частью с Авала и Одилиани, радость всей страны означала исцеление ее страдающей души. Однажды она вместе с Одилиани прогуливалась по старому Тбилиси. Вдруг на перекрестке появилась маленькая ездка Айша.

— Одил, дядя Одил! — воскликнула обрадованная девочка.

— Ах, это ты, Айша! Как дела? — спросил Одилиани.

— Хорошо! — ответила она. — А где Леван?

— Он находится далеко отсюда.

— Когда он вернется?

На этот вопрос никто не мог дать девочке определенного ответа.

— Не знаю, — пробормотал Одилиани.

Маленькие, змеиные глазки ездки помутнели. Она опустила головку и уставилась в землю. При этом она одной ногой то туда, то сюда передвигала лежавший на земле камешек.

— Нет, — сказала она испуганно. — Он больше не вернется.

Норина изменилась в лице. Одилиани молчал. Маленькая езидка успела заметить, как по лицу Норины пробежала тень.

— Красивая женщина, — сказала она шепотом, словно желая этим согреть страдающее женское сердце.

Одилиани и Норина пошли дальше.

— Эта девочка, должно быть, ясновидица, — сказала Норина. Одилиани ничего не ответил ей: он боялся дать хоть какое-то толкование словам Айши.

Прошло три недели. И вот однажды вечером Тбилиси узнает, что радость была преждевременной: Хыдыр сообщил, что Левана уже нет в живых. Он рассказал друзьям Левана о том, как беглецы сначала достигли Гурии. Одному из единомышленников, который искал в Гурии и Имерети удобный маршрут для побега, в конце концов удалось вывести их к границе с Аджарией. Здесь уже действовал он, Хыдыр. Прошла неделя, пока ему удалось их найти. Но он застал лишь Кансава и Басила, а Левана с ними уже не было. Когда он спросил их о Леване, они, глубоко вздохнув, сказали:

— Его уже нет среди нас.

И товарищи сообщили Хыдыру следующее:

Кансав: Он умер своей, тихой смертью. На нем не было ни царапины.

Басила: Он всегда шутил: меня, мол, пуля не берет.

Кансав: В нем уже не было прежнего огня.

Басила: Но он светился.

Кансав: Ясным светом. Этот суровый человек стал тихим, податливым.

Басила: Да, он был кротким как лань.

Кансав: Чувствовалось, что он покидал нас.

Басила: Он был обречен.

Кансав: На нем уже была печать смерти.

Басила: А как он говорил! Как брали за сердце его слова!

Кансав: Он как будто прощался с нами.

Басила: Он с любовью вспоминал своих друзей — с каждым днем все чаще.

Кансав: И тебя, Хыдыр, он вспоминал.

Басила: С восхищением говорил он о князе Гиорги и о молодой госпоже.

Кансав: И о своей матери, которая, мол, угасает (он так и сказал) в деревне.

Басила: Ему было трудно покидать родину.

Кансав: Временами он, задумавшись, шептал: Грааль должен остаться в Грузии.

Басила: Он постоянно уходил в свои мысли.

Кансав: Он сердцем видел природу, он прощался и с ней.

Басила: Одно место он полюбил больше других. Мы стояли на горе. Вдали виднелась еще одна гора, уходящая в голубое небо. Между той горой и этой простиралась широкая долина. Солнце клонилось к закату. На вершинах гор еще играли последние лучи. В долине уже лежала огромная синяя тень.

Кансав: И тогда Леван произнес: «Бесконечность, пойманная мгновением». Я не понял его, но он сказал именно так, помню отчетливо каждое его слово.

Басила: Затем он покинул нас, «на минутку», как он сказал.

Кансав: Мы долго ждали его, но он не вернулся. Обеспокоенные, мы начали искать его.

Басила: И тут мы увидели на откосе большой чудесный дуб. Ведь он любил это дерево.

Басила: Он часто говорил: «Дуб — наше дерево; чужестранцы похитили Золотое Руно со священного дуба, в ветвях которого оно висело». Он еще сказал нам, что святыя слова любви были подсказаны первому миннезингеру соколом, сидевшим в кроне золотого дуба.

Кансав: Мы подошли к дубу и вдруг увидели: там в тени лежал Леван.

Басила: На его плече сидела необычная птица; это был большой снежно-белый сокол.

Кансав: Мы уже вплотную подошли к Левану, но он не шелохнулся. Вдруг птица исчезла.

Басила: Да, именно исчезла, ибо мы не видели, как она взлетела.

Кансав: Нам показалось, что Леван заснул; и мы тронули его за плечо: он уже не дышал.

Басила: Его сердце уже не билось, его сердце — у кого еще было такое!

Кансав: Я чувствовал себя убитым, а Басила со-

трясали рыдания. Затем мы похоронили Левана под дубом и положили на могилу дубовые ветки.

Басила: Кансав сделал в стволе дуба глубокое отверстие: туда мы уложили Чашу Грааля.

Кансав: Отверстие мы закрыли стружками, а кору заделали так, чтобы она не бросалась в глаза.

Басила: Затем мы помолились и оба молча помянули хранителя Грааля.

Кансав: Когда мы отошли от того места, мы оглянулись, чтобы еще раз проститься со священной могилой. И вот чудо: на могиле сидел все тот же сокол!

Так закончил Хыдыр свой рассказ о смерти Левана.

Суровый, твердый, как камень, человек обратился в прах. Сердца людей погрузились в тихую светлую печаль. Человек, которого звали Леваном Орбели, уже не ходил по этой земле; но он жил теперь в каждом из друзей и товарищей, став им всем еще ближе, еще роднее.

— Кансаву и Басила удалось перейти в Турцию, — сказал Хыдыр. — Теперь нужно сделать все для того, чтобы хранить в чистоте дорожную всем нам могилу и Священную Чашу, — добавил он.

— Мы сделаем это, — подтвердили все.

Одилиани и Авала, узнав через несколько часов о кончине Левана, разыскали Коста и попросили его сообщить эту скорбную весть Норине. Одилиани пришлось приложить всю свою душевную силу, чтобы облегчить и без того страдающей Норине предстоящую минуту. Он заговорил с напускным воодушевлением, был крайне подвижен, ласков и даже погладил Норину по голове.

— Мой дорогой Одил, вы сегодня так сияете, — сказала она. — Мне это кажется подозрительным; мое сердце не ошибается.

— Ваше сердце не ошибается, — подтвердил поэт и стал вдруг серьезным и печальным.

— Что-нибудь случилось с Леваном? — с беспокойством спросила Норина. Она посмотрела на всех расширенными глазами, полными глубокой печали.

Одилиани молчал. Норина увидела, что в углу всхлипывал Авала и все поняла.



— Наш дорогой Леван ушел в лучший мир, — произнес наконец Одилиани и тоже не смог сдержать слез.

Норина сидела неподвижно, безучастно. Одилиани сбивчиво пересказал ей о последних днях Левана. Она ловила каждое слово, звучащее для нее словно из какого-то неведомого мира...

Недавно убили женщину, со дня на день ожидавшую ребенка. Крошечное создание, по-видимому, жило еще несколько секунд, пока через материнскую кровь продолжало поступать питание. Несколько биений сердца оно еще успело сделать в мертвом чреве... Так, будто пребывая в мертвеющем материнском лоне, чувствовала себя Норина.

— Что теперь будет? — как бы себе самой задала она вопрос, на который ни Одилиани, ни Авала не могли ответить. Она не рыдала; и от этого было еще тяжелей на душе. Справа от нее сидел Авала, слева — Одилиани. Так, молча страдая, сидели они втроем. Лишь время от времени кто-то ронял слово. Однако оно было лишено своего обычного звучания. Норина страдала, она как бы медленно умирала от укуса ядовитой змеи, и даже душевное тепло, исходившее от близких друзей Левана, не исцеляло ее.

Прошло несколько дней. По всей стране от сердца к сердцу передавалась волна глубокого траура по Левану. И все же какой-то свет озарял эту печаль: Грааль был спасен.

Однажды вечером Авала и Одилиани появились у Норины, прося ее прийти в театр на премьеру героической драмы, над которой так много работал Марджани. Норина сначала не соглашалась. Однако, когда Авала сказал ей, что одну из сцен в драме написал Леван, она согласилась.

И вот они сидят в ложе театра: Норина, Коста с женой, Авала и Одилиани. Зал был переполнен. Многие из зрителей с нескрываемым восхищением смотрели на прекрасную иностранку: страдания сделали ее еще прекрасней. Все ждали ту сцену, в которой герои несут в Священную рощу сердце для освящения. Медленно, бесшумно поднялся занавес. Сцена была сделана таким образом, что казалось, будто дорога к роще уходила в бесконечность. Тихо, словно из доисто-

рических далей, доходили до слушателей звуки оркестра. Затем на сцене появились три героя. Роли героев исполняли актеры Хорав, Ушанг и Васса. Ушанг нес сердце в чаше из самшита. Справа от него шел Васса, слева — Хорав.

В зале царила тишина, которая бывает лишь в пустыне, в которой царит бесконечно далекое пение песка. И вдруг прозвучали первые слова: скупые, глубокие. Сначала заговорил Ушанг, затем Васса, за ним Хорав. Целомудренные слова проникали глубоко в сердце. Тяжело пошатываясь, шли герои. Раздалась волнующая хоровая песня:

**О, сердце, ты желтая морская раковина, что  
соткана из чистых лучей солнца, чтобы  
вбирать в себя благоухание Бога,  
как эхо. Еще трепещет в тебе последний  
вдох его, что через фибры твои,  
сияя, возвестил радость миру.  
Он одарил тобою глаза прозрачные птиц,  
гроздь винограда, налитые золотым соком,  
свист клинков, топот копыт диких кобылиц, но  
прежде всего он одарил тобою дружеское «ты».  
Теперь ты истекаешь кровью, биясь и замирая.  
О, горе нам! Руки, несущие тебя, дрожат от страха:  
не уронить бы тебя, не разбить бы.  
Твоему трепыханию вторят удары  
наших сердец: ты не осиротеешь вовеки.  
Солнце, израненное горем,  
струится навстречу твоей немощи.  
Вбирая тебя в себя, оно исцеляет тебя. Будь  
покойно, сердце, мягко изойди в потоках светила,  
чтобы в светлом первоначале некогда стать  
бутоном и вдыхать им солнце во веки веков. Аминь...**

Песня замирала и вместе с ней, словно морской отлив, уходили звуковые волны. Герои удалились. Будто брошенные в глубокий колодец, упали последние слова в тишину:  
**Лишь погрузившись в небытие  
и увидев там во тьме рожденье,  
грядущее навстречу свету  
ты познаешь боль исчезновенья. О, горе!**

Сердце, которое несли герои, еще кровоточило так казалось взволнованным зрителям. И их сердца истекали кровью. Снова наступила тишина. Вдруг раздался душераздирающий крик скорби. Был ли это человеческий голос? Словно зов из глубин вселенной, пронзило горе дрогнувшую людскую массу: Лееваан!!! Чей это голос? Если присутствующим был бы задан этот вопрос, никто не смог бы на него ответить. И все же среди зрителей присутствовала женщина, которая почувствовала, что это мог бы быть ее голос. Это была Норина. Затем тишина разразилась бурными аплодисментами. Взволнованность людей, казалось, граничила с безумием.

После окончания спектакля в театре осталось около сотни зрителей. Это были мужчины и женщины, пожелавшие поздравить с успехом актеров и режиссера Марджани. Среди них находились и те, кто гостил в этот памятный день у князя Гиорги. Недоставало троих: самого князя Гиорги, который все еще сидел в ГПУ, Мушни — он был расстрелян — и Левана, нашедшего вечный покой под сенью дуба. Норина сидела между Одилиани и Авала.

Словно шум прибоя, шумел торжественный пир. Чествовали актеров Ушанга, Васса и Хорава. Режиссура Марджани была признана гениальной. Вдруг из-за стола поднялся один человек.

— Нам недостает одного! — крикнул он, заикаясь. Волнение душило его. Он разрыдался.

У всех замерло сердце. За его рыданием последовало несколько секунд глубочайшей тишины. Все знали, кого здесь доставало: Левана Орбели. Невидимый трепет тронул воздух. Сердце Норины сжалось от боли; она вся дрожала.

— Он всегда будет с нами! — сказал Марджани.

Он старался держаться бодро, но две слезы блеснули в его глазах.

Никто не проронил ни слова.

Вдруг встал Закара, молчавший весь вечер. Он достал из кармана лист бумаги, подаренный ему Леваном и прочел вслух: «Если отдаешь себя всего, до конца, то кажется, будто нет расставания.» Он прочел эти слова с дрожью в голосе.

— Вы, конечно, догадываетесь, кто это сказал, —

добавил он и замолчал. Вдруг он пришел в ярость, крикнув, что готов совершить отчаянный поступок. Сильная рука Хыдыра успокоила его.

— Так отдадим же себя до конца! — воскликнул Хыдыр, немного погодя.

— Расставания нет! — сказали все хором.

Торжество продолжалось. Все были готовы пожертвовать собой. Среди них и Норина.

Далеко от Тбилиси в деревне в ту же ночь старой женщине приснилось, будто ее младенец сосет у нее грудь. Она проснулась разочарованной: ее грудь давно уже высохла. Она снова уснула и ей приснился другой сон: ее мальчик пил из чаши, сиявшей, как звезда. Она снова проснулась и уже не могла заснуть. Она встала и вышла во двор, обратив лицо в пустоту ночи. Когда она взглянула на небо, ей показалось, что она грезит. Звезда в виде чаши, ярко сияя, висела низко над ее головой. На миг она ощутила в звезде Грааль, легенду о котором не раз нашептывала своему дитяти. Как он теперь, мой родненький? — подумала она. — Смотрит ли в эту минуту так же, как и я, на чудо-звезду? — Мысль о сыне быстро погасла. Весть о смерти Левана, ее сына, еще не дошла до нее.

## ЭПИЛОГ

В мансарде одного парижского дома живет странный человек. Он не парижанин, вообще не европеец и даже не горожанин. Ему уже за пятьдесят, но он еще довольно крепок с виду. Его могучие плечи всегда расправлены. С тех пор, как он покинул родную землю — а прошло уже без малого восемь лет, — к его детской веселости нет-нет да и примешается тоска оторванного от своего стада животного. Большой город, в котором асфальт и камни теснят грудь земли, гнетет его душу. Он постоянно мрачен, суров, молчалив. То и дело в его затуманенном сознании всплывает картина далекой родины. Там, наверное, сейчас на полях лежат широкие полосы солнца. Какое счастье лежать в густой, спокойной тени орехового дерева! Какое блаженство голым искупаться в струях майского лив-

ня! Прекрасна мягкая вечерняя заря, и как чаруют ее фиолетовые тени. Величественна тишина первобытного леса с его тихим шелестом листьев! Тоска гложет одинокого человека. Он часто уходит далеко за город, чтобы насладиться ароматом высушенной солнцем или напоенной дождем земли. Он приносит домой зеленые ветки деревьев, счищает кору с ивовых прутьев и вдыхает свежесть их обнаженных тел. Так он приглушает, так утоляет свою тоску. Но она от этого становится лишь утонченнее. Ему порой кажется, что он мысленно набрел на то место у себя на родине, где на земле осталась вмятина от лежавшего медведя. Нет, тоску его не утолить ничем. Так проходят дни, недели, годы. Душе его тесно в этой маленькой мансарде. В соседнем домике непрерывно гремит радио. Ему это мешает. Сегодня оно особенно раздражает его. Что это оно все визжит? — ворчит он. Слов он не понимает. Через некоторое время начали передавать концерт. Он слушает, сначала неохотно, затем с увлечением. Возможно ли это? Он слышит одну из родных песен. Как она попала сюда? Он кладет правую руку на грудь, где он носит вырезанный из зеленоватого нефрита амулет — подарок его светлейшего господина. Амулет немного сдвинулся к сердцу, и оно сильно забилось. Глаза Кансава в слезах. Он дрожит. Вдруг раздается звонок. Кансав приходит в себя и медленно идет к дверям. Молодой человек, ясный, как солнце, врывается в комнату. Это его земляк и друг Басила. Он работает здесь, в Париже, шофером и неплохо зарабатывает. Недавно даже купил себе автомобиль.

— Ну, как поживаешь, старина? Опять в плохом настроении? — спрашивает он с сияющей улыбкой.

— Заходи, присаживайся, — говорит ему обрадованный Кансав. Ведь Басила для него — часть Грузии.

— Знаешь, я вчера выиграл целую кучу денег.

— Ты опять играешь? Этот город погубит тебя.

— Не ворчи! Мне везет в игре.

— Это как раз и плохо.

— Не бойся за меня! — Басила помолчал немного. — Я не выношу июльскую жару и хочу на неделю поехать на Ривьеру. Ты ведь поедешь со мной?

Кансав молчит.

— Ты поедешь со мной, прошу тебя, не возражай,

— решает Басила за друга и дружески хлопает его по плечу.

Сван ничего не отвечает. Он исполняет все просьбы и капризы своего младшего друга.

На другой день оба уже в пути на юг. Басила с бешеной скоростью гонит машину.

— Ты слишком быстро едешь, — шепчет Кансав.

— Ты что, боишься?

— Нет. — Старый сван в душе ликовал, что его друг-шофер так уверен в себе.

Наконец они добрались до одного из мест на знаменитом морском побережье.

— Неплохо прокатились, что скажешь? — бормочет Басила как бы про себя, с любовью поглаживая машину.

— Мне кажется, что ты на коне Марги чувствовал себя счастливее, — заметил сван. — Помнишь?..

Помнит ли он? Будто острое раскаленное жало, вонзается в сердце тоска по родине. Басила ничего не отвечает другу.

Проходит несколько дней. Оба друга от души наслаждаются природой. Солнце печет, словно оголенное, сладострастно и вместе с тем целомудренно. Небо прозрачно в своем величественном покое. Земля цвета спекшейся крови вбирает в свое лоно солнечное семя. Море длинными, мощными волнами простирает голубизну в бесконечность. Голые, ярко-красные скалы в ожидании тех мгновений, что сверкнут из Неведомого.

— Хорошо, — бормочет сван.

— И все же не так величественно, как на нашем Кавказе, — замечает Басила.

— Это верно. Зато нашему краю недостает той мягкости, что сглаживает здесь любую резкость, — отвечает сван. — Я лишь повторяю слова князя Гиорги, которые он мне сказал однажды, когда привез меня сюда.

Имя князя Гиорги вызвало в душе каждого целый рой воспоминаний.

Ранний вечер. Солнце еще припекало. Басила, прогуляв немного по пляжу, возвращается в сильном возбуждении.

— Я только что видел необычайно красивую женщину! — сообщает он.

— В твоём возрасте, мой мальчик, любая женщина кажется прекрасной, — говорит Кансав, улыбаясь.

— Шутки в сторону! Мне показалось, что это бы-  
ла Норина.

— Наша молодая госпожа? Не может быть! — удивился сван.

Помолчав немного, он пробурчал:

— Почему ты не подошел к ней?

— У меня не хватило смелости.

Оба сидят в кафе. Разговор не клеится. Кансав грезит наяву. Вдруг он предлагает:

— Давай разыщем эту женщину!

— Если она еще будет там, — шепчет Басила.

И оба спешат к тому месту, где Басила увидел ее. Они нашли ее сидящей на крутой скале. Вокруг ни души.

Она приехала сюда две недели тому назад. Под белой парусиновой шляпой, поля которой затеняют брови, ее светлые большие глаза кажутся почти раско-  
сыми. На ней широкое, длинное, достающее до земли платье из белоснежного шелка. Оно подчеркивает ее стройную фигуру. На берегу она всегда появляется одна, лишь очень редко с подростком, по-видимому, сыном. Она сидит на большом камне, уйдя в бесконечно далекие воспоминания. Много лет тому назад она так же сидела на берегу другого моря и упивалась солнцем. В то время ее кровь в сладостном ожидании струилась навстречу грядущему. Это еще не было исполнение сокровенного, однако радостное предчувствие было божественным. Но вдруг, не исполнившись, оборвались ее женские чаяния, и она ушла в себя, ушла в мир сладостных воспоминаний.

Робко подходят к ней двое мужчин. Она пока не замечает их. Ее взгляд остановился на ярко-синей глади, уходящей в безбрежную даль. Все живее всплывают образы в ее воспоминаниях. Один из этих образов проносится мимо ее взора: она видит юношу на коне, первым примчавшимся к финишу.

— Калбатано<sup>1</sup> Норина! — слышит она вдруг на грузинском языке.

---

<sup>1</sup> Почтительное обращение к женщине, буквально: госпожа (груз.)

Она оглядывается и, не веря своим глазам, неподвижно смотрит на стоящего перед ней молодого человека.

— Я — Басила, — смущенно лепечет он.

Только что она вообразила себе Басила на коне, и вот он уже стоит наяву перед ней, правда не совсем такой, как в воображении, ибо тот юноша превратился в мужчину. Несколько мгновений они молча смотрят друг на друга.

— Басила, милый! — воскликнула Норина со слезами на глазах. Молодой человек от неожиданной радости теряет дар речи и дрожит. Смущенный, как всегда застенчивый, подходит Кансав.

— Кансав, и ты здесь! — вскричала она от радости. — Боже мой, какое чудо!

Кансав не находит слов.

— Пойдемте ко мне! — предлагает Норина.

Норина бодро, с девичьей легкостью шагает впереди. Басила и Кансав с трудом поспевают за ней. У троих бешено колотятся сердца. Из дома навстречу им с ликованием выбегает мальчик. Стройный, с нервными ножками лани и звездным блеском в глазах, он являет собой сияющий образ наследного принца.

— Ну, Гоги, узнаешь гостей? — спрашивает его мать.

Мальчик явно смущен и озадачен. Затем его взгляд постепенно проясняется под действием воспоминаний.

— Кансав, — шепчет он, дрожа от страха и радости.

— А я — Басила! — Басила подбегает к мальчику, обнимает, подбрасывает и ловит его.

И вот они все вместе сидят на балконе. Гости узнают от Норины, что год тому назад ее отец выхлопотал ей и ее сыну паспорт за 500 долларов. Басила бегло рассказывает ей о своей жизни и жизни Кансава в изгнании.

— Ты вырос в красивого мужчину, — говорит Норина. — А ты, Кансав, совсем не изменился.

— И ты, калбатано, — отвечает он с присущей ему наивностью. — Лишь глаза твои кажутся мне полными печали.



— Да, князя Гиорги уже нет среди нас, — говорит она.

Мужчины цепенеют от горя. Великий, мудрый князь Гиорги! Неужели его расстреляли? — Нет, он умер своей смертью, — рассказывает Норина. — Тихо, спокойно, с просветленным лицом отошел он в вечность.

— Во второй раз я чувствую на себе прикосновение смерти, — говорит Кансав. Он глубоко потрясен. О первом прикосновении он умалчивает: он не осмеливается упомянуть имя Левана в присутствии Норины. — Но встреча с тобой, калбатоно, — шепчет он, — облегчает мне горе.

— Мой добрый Кансав, — говорит Норина.

И снова Норина сообщает. Из «рыцарей» осталось в живых пятеро: двое здесь в Европе — она имеет в виду Кансава и Басила; при этом она устало улыбается, и трое там в Грузии: Одилиани, Авала и Хыдыр. Усопших она не называет: слишком тяжело ей произнести имя Левана. Но Кансав и Басила произносят в душе любимые имена: Леван, князь Гиорги, Мушни.

— А Закара? — спокойно спрашивает Басила. — Ведь он был девятым!

— Закара? Через несколько месяцев после восстания, — рассказывает Норина, — недалеко от Тбилиси в воздухе загорелся самолет и упал. Три видных представителя власти, летевших в Сухуми, находились в нем. Все они разбились. Этим же самолетом должен был лететь и С. О. Но не более, чем за 15 минут до вылета он отказался лететь. Пилотом этого самолета был Закара. Он тоже погиб. Следственная комиссия установила, что самолет был в полной исправности. Не было ли это мстью молодого летчика?

Молча слушают Кансав и Басила печальный рассказ Норины.

— Он очень любил Левана, — сказал Басила. — Я заметил это еще в Саирме.

Так, наконец, было произнесено имя всеми любимого человека. Затем Кансав со всеми подробностями рассказал о последних днях Левана. Басила то и дело дополнял рассказ друга. Норина слушала, не пропуская ни слова, и каждое слово обжигало ее и без того опаленную душу. Образ ее возлюбленного оживал в тихой, наполненной скорбью комнате. Кансав и Баси-

ла продолжали свой торжественный рассказ. Норина внимала им, словно подстреленная орлица, готовая вот-вот издать последний, предсмертный крик. И все же огромным напряжением воли она заставила себя сохранить внешнее спокойствие. Наступило глубокое молчание. Никто из присутствующих долго не осмеливался нарушить его.

— Вы оба служили князю Гиорги, — начинает Норина другой разговор, — и вы были не просто его слугами. Вы знаете это. И вот его уже нет в живых. Но еще жива его невестка, которая была для него родной дочерью. С этого дня вы всегда будете со мной, тем более что моему мальчику нужна ваша помощь и защита.

Слезы радости появились в глазах Кансава и Басила. Снова на несколько секунд воцарилось молчание. Басила и Гоги вышли из комнаты. Мальчику захотелось поиграть во дворе. Кансав медленно достает из старой кожаной сумки лист бумаги и передает его Норине.

— Перед смертью Леван написал это письмо, — говорит он глухо. — Полушутя, полусерьезно он сказал мне: «Мой дорогой носорог — так он любил меня называть — ты, конечно, переживешь меня; я это чувствую. Передай, пожалуйста, это письмо твоей молодой госпоже». Так сказал он, светозарный. Норина читает: «Любящий богоподобен. Однажды в смерти любящие потеряют друг друга. Тогда начнут свой промысел боги, и любящие непременно найдут друг друга. Помогите мне, Норина, найти тебя, когда не будет меня».

Норина не в состоянии сдержать рыдание. К счастью, возвращаются Басила и Гоги. Норина покидает гостей и идет в свою спальню. Большое окно открыто. Надвигаются мягкие фиолетовые сумерки. Вдруг она видит в окне Левана. Видение длится одно мгновение. Потрясенная, женщина прислонилась к стене. Сдержанное рыдание сотрясает ее плечи.

За окном в спокойном величии лежит Средиземное море. Едва слышен небрежный шепот волн. О чем шепчут они? О том, что когда-то этим путем была увезена ясноглазая богиня Европа. Одна из ее дочерей теперь проливает горькие слезы. Тихо взывает она о помощи к своей матери.

**Перевод с немецкого Сергея ОКРОПИРИДЗЕ**



## Преображение

В чем оправданье, человек и Бог?  
В чем истина, Творец и человек?  
Не ты ли в небеса меня завлек?  
Не ты ль небес лишил меня навек?  
Не белый веер у меня в руках—  
обломки крыл.

И слезы на глазах.

Не помню я, кто надломил крыла,  
и запер на засов врата небес,  
и очи мне отверз, —

ведь я спала, —

и на камень бросил. И исчез.  
И склон земли, как немощный старик,  
просил о ласке, помощи просил  
и гневался, и яхонты сулил,  
и к ветру ревновать меня привык.

Фиалки бросил под ноги!

А я

одно твердила: «Отведи беду!  
Неровен час, вдруг алчности змея  
ужалит в сердце, если упаду».

Из темно-синих арок в небесах  
раздался хохот: «Женщина она!  
Слабы колени, в жаждущих очах  
таится страсти темная волна!»  
Я упрекну с обидой небосвод:  
«И ангел, коль незряч он и бескрыл, —  
всего лишь слабой женщиной слывет!  
Не ты ли так его преобразил?»

В чем оправданье, человек и Бог?  
В чем истина, Творец и человек?  
Не ты ли в небеса меня завлек?  
Не ты ль небес лишил меня навек?  
Не белый веер у меня в руках —  
обломки крыл. И слезы на щеках.

## У перекрестка



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ  
ՆԱԽԱՐԱՐԱՆ

Сплетни — горсть колючая проса,  
сплетни — лютый рой мошкары.  
Не скупится судьба на дары...  
Три дороги.

И три вопроса.

Согрешу, если вправо пойду?  
Влево — в самый ад попаду?  
Померанцы и лавры сулит  
путь, который прямо лежит?

Засмеют, если прямо пойду.  
И накажут, коль пару найду.  
Пряча слезы, стою одна.  
На фиалках роса холодна.

## Вечно помни меня

Равнодушие было только маской —  
ведь слеза под нею не видна.  
Ты вернулся? Я гляжу с опаской:  
старой раны боль вдвойне страшна.  
Распростилась с пылкостью былою —  
и простушки прежней нет — как нет.  
Что ты, ветер, делаешь со мною?  
Вянет, вянет лучший жизни цвет.

Близко колесо судьбы гремело,  
пронеслось — и даже след исчез.  
Поле по весне цвести хотело,  
гибнет поле, вырублен мой лес.  
Названные сестры! Неужели  
мне веселой воли не видать?  
Лику солнца над Светицховели  
утренней молитвы не послать?  
«Позабудь!» — извечный жест гордячки.  
Прихоти угрюмой не перечь.  
Ты беспечно весел, я — в горячке.  
Странную опять веду я речь.  
«Помни вечно!» — в сердце затаила,

но иные вырвались слова.  
Одиночество шатер разбило.  
Рана в сердце жгучая жива.  
Видишь, плачут нежные фиалки,  
слез своих прозрачных не тая.  
После злой словесной перепалки  
лишь фиалки плачут.

Но не я...

## Осень

Грустно земле под осенней луною.  
Лунные тени мелькают, пугая.  
Вспомнилось: славно жила, потакая  
почкам, встревоженным близкой весной...  
Вздрыгнула:

        вот он, последний листок!  
Желтой непарной серьгой негритянки  
мне показался.

        А той — невдомек,  
что потеряла серьгу на гулянке.

## Странный сон, который неоднократно увидим...

Не улыбка — улитки след на тропе,  
Бесенята в глазах затаились...  
А на прочих лицах — одно шутовство.  
Вкруг меня они веселились.  
Кто-то крал украдкой мое тепло  
и хвастливо играл словами.  
Резкий свет горел, теплый дождь хромал,  
странный праздник шумел над нами.  
Разноцветных масок цветистый ряд,  
одноликость мужчин — под ними.  
У двери, словно дербер, лисица стоит  
и блестит глазенками злыми.  
Впрочем, я легко различу в толпе,  
кто есть кто, кто уважен всеми.  
Вот афиша висит. Саже-черный шрифт.  
Объяснение к нашей теме.  
На афише условия не трудны.

Выполняй — и милости просим.  
Сердце — дома оставь. Мы сюда на лице  
лишь лукавство улыбки приносим.  
Трепет детства? Забудь. Или дома оставь.  
Ты на верность отчизне поклялся?  
Ты на трусость глаза не умеешь закрыть?  
Знаешь, лучше б ты дома остался.  
Те, кто празднует труса — придите сюда,  
к нам на праздник коварства и злости.  
Вот какие на черной афише слова.  
Вот какие пожалуют гости!  
Легкодумный вручитель лавровых венков,  
устроитель почетных овадий!  
Для тебя этот кров, для тебя этот пир,  
здесь не любят иных филиаций.  
Видишь, длинная очередь возле дверей,  
Впрочем, я не такая простушка,  
вижу, чем приласкают: меня заждалась  
незаметная взгляду ловушка...  
Это сон, это бред, это страшный навет  
на действительность! Так не случится.  
Это снилось кому-то еще до меня.  
Это сон! Мне нельзя ошибиться.

\* \* \*

Ты идешь мне навстречу,  
на милый наш город не глядя,  
словно некий пришелец,  
чужой небесам и земле.  
Побеседуй со мною!  
Не подыскивай пышного слова  
из прочитанной книжки:  
не люблю я красивых словес!  
Что мне книжные страсти?  
Напрасно ты их расточаешь,  
из бумажных фиалок  
мне под ноги стелешь ковры.  
Ты, смягчившись,  
сегодня  
мою непосредственность хвалишь,  
но, уверена, завтра  
не простишь мне моей простоты.

Перевод Натальи АРИШИНОЙ



# МАРТОВСКИЙ ПЕТУХ

РОМАН

1.

Слепым пришел он и слепым уходит; из мрака — в мрак; так что и сокрушаться не о чем. Не накопил знания, не успел; не сумел даже выяснить, где дерево познания растет, чтобы набрать хоть корзинку его плодов в запас на всю жизнь. Не удалось — да и не понадобилось. Если бы удалось — быть может он и сожалел бы сейчас, что не успел использовать обретенное знание. Зато он своими глазами видел, как внезапно гаснет, исчезает жизнь и как легко занимает смерть ее место. Кто этому не бывал свидетелем, тот не поймет думы Нико. «Забавно, право—ей-Богу!» — назло смерти смеется он, и, в самом деле, разве не забавно — минутой раньше ты грелся у огня, разгребал жар концом палки, Бог весть о чем только ни думал, каких только ни был полон чувств, переживаний, воспоминаний, надежд, и вдруг, в следующую минуту — бац! — сразу стал как вытряхнутый мешок. В самом деле, просто смешно. Между прочим, можно умереть и от смеха, но это уже чересчур. Валяешься ничком, с горстью медвежьей дробы в изодранных кишках, словно и твое мясо годится в еду. Никто и не подумал спросить, кто ты, что тебе здесь нужно, что ты здесь делаешь — стоило тебе появиться, и сразу пристрелили, как застрелили бы зайца, косулю, куницу, шакала или волка; более того — если бы вместо тебя кто-нибудь другой выскочил тогда из старой церкви, с ним поступили бы точно так же, ничто бы не изменилось; и, поскольку именно ты выбежал в ту минуту из развалин, то, быть может, вместо кого-то другого и валяешься сейчас ничком, пораженный, ошеломленный, наверно, и перепуганный и, что важнее всего — мертвый. Ничего больше не чувствуешь, не слышишь ни звука... А между тем, похоже,


что уже поют петухи. Может, придет наконец избавление от этой нескончаемой ночи. И собака лает — да, лает, в этом сомнения нет. Давно уже лает. И не смолкала ни на мгновение. Собака — всеобщая паника. Без хозяина. Так она и лает обычно всю ночь напролет, до света: дескать, слышите все, понимаете, какой я вам верный страж. Но ты уже ничего не слышишь. Не знаешь даже — ты это, или кто-нибудь другой. Потому, что ты вообще уже не существуешь и тебе в высшей степени безразлично, по праву или не по праву ты не существуешь, то есть, за самого себя или вместо кого-то другого. Ты ничего не видишь и не хочешь видеть; ничего больше не слышишь и не хочешь слышать. Валяешься себе ничком. Эласа, мѣласа, складно напелоса. Будто тебя и вовсе не было. Человек приходит из мрака и во мраке исчезает. Это старая истина, но сам человек так и не догадывается, что с ним происходит. От мрака до мрака путь такой короткий, что он не успевает ничего осмыслить, понять. Да и не должен понимать. Если бы понял, то, право, сошел бы с ума, не захотел бы и этот короткий путь пройти до конца, встал бы посреди дороги, как заупрямившийся осел, и ни вперед, ни назад, хотя, конечно, впереди то же самое, что позади, только туда, вперед, тебя ведет природа, инстинкт, чутье, а чтобы повернуть назад, нужен разум, и, что самое главное, повернуть назад ты должен сам, по своей воле, — обдумать, решить, а решив, исполнить. Но тот, кто не знает, что с ним собственно происходит, живет себе спокойно и беззаботно. Большинству это по душе, и если спросить — ответят; ну и пусть, буду жить, ничего не зная. Так вот и живешь, и не знаешь, что живешь, потому что сознательно отвергаешь и прошлое и будущее. Вишишь в поднебесье, ветер носит тебя, как оленью слюну, а сознание, пока оно есть, все вспоминает. Ни один сосуд не может вместить в себя столько, сколько вмещает человеческое сознание. Сколько оно может держать в себе одних только стихов (если вообще их запоминает).

**Боже, какая черная тьма кругом!**

**Боже, какая густая мгла кругом!..**

Вот таким густым туманом окутана, оказывается, и дорога к обители теней. Идешь, идешь, а дороге все






нет конца, как этой беспредельной, нескончаемой, непобедимой ночи. Первая ночь болезни — как последняя ночь в заключении, если выдержишь, потом тебе все ни по чем. Петухи поют, но в небесах ни проблеска. Потому что петухи эти поют лишь в сознании Нико, лишь сознание Нико запомнило их навсегда, как стихи. Это не обычные петухи, а Ильи-пророка, посвященные ему, обреченные, и поют они не в предвидении рассвета, а в предчувствии смерти. Летят с горы святого Ильи, хлопая крыльями, вылупив глаза и распялив когти, ударяются, как мячи, об иссохшую, окаменелую землю, окутанные облаком пыли и собственного пуха, опутанные своими кишками (что вываливаются у них сзади, когда они грохаются с размаху оземь), но все же не могут привести желанный дождь, на обожженной земле по-прежнему то там, то здесь само собой вспыхивает пламя, Илья-пророк, Илья-пророк, чем я тебя разгневать мог? Лазарь за дверями, сверкает глазами. Лазарь был мертв уже четыре дня, когда его воскресил Господь. Уже смердел. Потому и не хоронят покойника раньше, чем на четвертый день. А вдруг через четыре дня он в самом деле воскреснет? А, это ты? Здравствуй. Как поживаешь? Расскажи, что с тобой было. Чего рассказывать, шел я с белым цветком в руках, свободный, не знал страха. Но ведь в самом деле, кто знает, чем кончается смерть? Кто знает, что такое человеческая жизнь? Ничто. Минута. Мгновение. Повеял ветер, разом погасил. Но если как-нибудь сумеешь вернуться в прошлое, а потом и через него пройти, то попадешь, оказывается, в вечность и уже никогда не умрешь. Никогда не умрешь. Разве не таково извечное желание человека? Лишь об этом мечтает он всегда — в сказках, стихах, легендах. Достанет живой воды, брызнет на дорожного покойника, а что останется в склянке, выпьет сам и вступит в счастливую жизнь, будет жить до глубокой старости, пока не превратится в обезьяну, пока не покроется червями, как убийца Ильи Чавчавадзе. Бессмертия не существует, а жизнь, все равно короткая или длинная, есть не что иное, как привыкание к смерти. Для того она, жизнь, и дается с самого начала человеку — чтобы он приготовился умереть. Жизнь — это время для подготовки. Вот как ученикам — дается определенное время, срок для подготовки по тому

или иному предмету. Если не уместись в свой срок, срежешься — или не сможешь достойно умереть, превратишься в обезьяну, изведешь всех нытьем, охами, напрасными мольбами: «Не могу. Не готов еще. Не хочу. Боюсь...» Стыд, срам! Позорное малодушие! Тьфу на такую жизнь! Уходящему надо уйти. Все равно остаться нельзя, и никто не может позволить тебе остаться. Будь ты хоть двоюродный брат самого царя. Единожды прийти суждено тебе — и единожды уйти. Поэтому чем раньше ты расположишься умереть, тем лучше. Потом уже сможешь спокойно прожить оставшееся время, может, даже успеешь что-то сделать, что-то свершить, потому что будет уже все равно, когда постучится к тебе в дверь костлявая с саваном, когда она встанет над тобой, оскалив зубы, со своей косой на плече. Небось, подумает, что испугала — а ты сам на нее прикрикнешь: «Где ты до сих пор?» — «Смотри-ка!» — удивится костлявая. «А как же ты думала? — отрежешь ты спокойно и насмешливо. — Не все же тебя боятся, безмозглая!» Костлявая рассвирепеет, совсем поглупеет от ярости, закричит: «Я тебе покажу, как надо мной смеяться!» Залязгает костлявой рукой перед твоим носом (есть у них в школе однорукий скелет, который лязгает костями, когда ребята здороваются с ним; каждый непременно должен пожать ему руку, притом дважды в день — когда приходит в класс и когда уходит. Между прочим, правило это установил Ваню-учитель: когда он в первый раз пришел в класс, то сперва пожал руку скелету, крепко, как старому знакомому, и только потом обернулся к ученикам: «Здравствуйте, я ваш учитель»). Но зря тебя будет пугать костлявая, что она еще может с тобой сделать? Что может быть хуже смерти, хуже небытия? А удивительно, право, — как это так, ничего не будешь чувствовать, видеть, слышать, ничего не сможешь сказать, ничему не станешь огорчаться и ничего уже не испугаешься. Не будет тебя. Знаешь это, но представить себе не можешь. Видел не раз, знаешь, и все же ничего не знаешь. И научиться этому нельзя. Физику можно выучить, и химию, и математику, и иностранный язык, а это — нет. Страшное это зрелище — когда гроб покрывается землей, уходит в землю, постепенно, навсегда. Даже если оживешь,

— кто тебя откопает, кто узнает, что ты ожил? Хоть вверх ногами вывернись под землей, хоть оглушай отчаянными воплями всю округу. Впрочем, кричать все равно не сможешь, мигом в рот набьется земля. Да и дыхание не сможешь надолго задержать. Так что спасения нет, как ты там ни распинайся. Одному в гроб положили часы, только сломанные. Вдова на глазах у всех разбила их о край гроба, а потом надела на руку покойнику. Только вот что, если не веришь, что часы понадобятся на том свете, то зачем даешь их с собой покойнику? А если думаешь, что понадобятся — зачем их разбивать? Кто ему там их починит? Чем разбивать, не лучше ли себе оставить? Посмотришь на них и вспомнишь не только самого покойника, но и еще всякую всячину, множество мелочей, и хорошее, и дурное... Только дошли до кладбища, как пошел дождь, полил как из ведра... Или — обернулся и сказал: прости, я не думал, что ты так огорчишься... На часах ведь отсчитана вся наша жизнь, тик-так, секунда за секундой, да и трудно ли ее оттирать? Впрочем, могло быть и еще легче, и пожалуй обошлось бы и без изобретения часов, потому что Бог с самого начала отвел тридцать лет жизни человеку. И не только человеку — но и вообще всем живым существам: дескать, довольно с вас, этого вам хватит с избытком. И знаете, кто перепутал весь заведенный порядок? Осел! Нет, говорит, Господи, тридцати лет мне слишком много, не смогу проходить в ослах тридцать лет, или, вы думаете, легко быть ослом? Очень он твердо стоял на своем, проявил настоящее ослиное упрямство — и добился-таки, что его услышали. Ослу стали вторить собака и обезьяна — сперва собака, потом обезьяна. Собака сказала: «Врагу моему пожелаю рычать и лаять тридцать лет, все равно мою службу никто не оценит». А обезьяна объявила: «Да у меня руки-ноги отнимутся, если я тридцать лет подряд буду кривляться». Остолбенели писатели судеб — экие вы, мол, дураки — ведь дают вам, не отнимают! Но осел, собака и обезьяна так и не отступились от своих слов, и невозможно было их отговорить. Писатели судеб захлопнули свои книги, не решившись записать божье постановление. А Бог пожалел сотворенных им животных, внял их просьбе и ос-


тавил каждому по десять лет жизни. Но тогда заговорил и человек, распалился в свою очередь, заявил — «Я тоже против твоего решения, Господи, только мне, в отличие от осла, собаки и обезьяны, пожалованный тобою срок жизни кажется не долгим, а коротким; за тридцать лет много ли я успею построить, много ли успею разрушить; что я за столь короткое время создам, что приобрету; да, наконец, хоть детей я должен поставить на ноги, прежде чем умру!» Бог нахмурился, омрачился, собрал лоб в складки. Ну что это в самом деле — создал человека из праха, из грязи, и вдруг это его создание восстает против создателя, бросает ему в лицо: «Не приемлю, не согласен, большего хочу, лучшего достоин». Но Бог не разгневался, а пожалел ненасытный прах. И так как был он Бог, создатель, то и провидел с самого начала, как дорого обойдется эта первая попытка борьбы глиняному человечку. Короче говоря, все те годы, которые Бог отнял у осла, собаки и обезьяны, он подарил человеку, и с того дня начались все человеческие беды. Прожив предназначенные ему самому тридцать лет, человек трудится потом с ослиным терпением двадцать лет подряд не поднимая головы, без роздыха, недоедая и недосыпая. Но все, что он приобретает, достается ему в эти двадцать лет ценою человеческой настойчивости и ослиного труда. Следующие двадцать лет он стережет как собака все, что приобрел человеческой настойчивостью и ослиным трудом — стережет, рыча и лая, не смыкает глаз, так что и обглоданной кости у него не украдешь. Ночью не гасит света, спит с дубиной наготове, раз двадцать за ночь вылезет из теплой постели, обойдет дом, двор, погреб, подвалы, заглянет в амбары и винные кувшины, проверит все свое добро, нажитое за двадцать предыдущих лет, и делает это с охотой — не только из человеческой скупости, но и благодаря своей добавочной собачьей природе. А если на беду доведется ему прожить и обезьяньи двадцать лет, к концу он непременно превратится в обезьяну. Хотя сам он называет это «впасть в детство». Мой свекор стал совсем как ребенок, право. Теперь за ним нужен постоянный уход. Соус проливает себе на грудь. Брюки не застегивает. Ночью во сне ходит под себя. И так далее,

и так далее. Отсюда следует, что не хороши ни вечная жизнь, ни вечное небытие. Когда-нибудь надоест и то и другое. К тому же, разве кто-нибудь знает наверняка (или, если знает, то откуда), что жизнь предпочтительнее смерти? Третьей возможности нет — можно быть только живым или мертвым. Или, как верят индийцы, рождаться несколько раз — деревом, птицей, зверем, человеком... то в одном, то в другом обличьи. Нико, например, уверен, что когда-то был птицей, хищной птицей, только он не помнит, какой. Соколом? Кречетом? Ястребом? Зато он явственно помнит гнездо — запах гнезда, пух, выующийся над гнездом (наверно, пух выкармливавшей его птицы), и крутые, изрезанные трещинами, озаренные солнцем скалы. Как говорит Мафусаил? Не считай мои года, ибо собьешься со счета. Он был внук Адама. Трехлетним, говорит, после Адама остался. Работал плотником у Ноя. Видел, говорит, своими глазами, как сгорел Содом; были там и его любовницы. Есть чем похвастаться — вот он и хвастается. Долгая жизнь тоже в своем роде геройство: значит, многое можешь вынести, ибо одарен большим терпением. Хвала тебе! Хвала! Потому и сложил о нем стихи народ. Народ любит долгожителей, радуется им, нужен ему пример долголетия. Соболезнуя на похоронах, непременно спрашивают о возрасте покойника. Сколько лет было вашей матушке, упокой Господи ее душу? Но ведь у матери нет возраста! Вообще у человека нет возраста. Всех людей, в том числе и еще нерожденных, Адам взял с собой из рая в семенном мешочке, протащил контрабандой. С этого времени и начинается летоисчисление каждого человека. Но, как говорил своим ученикам Вано-учитель, посев оказался таким же легкомысленным и нетерпеливым, как сеятель, — поднялся побег над землей, но не сумел дотянуться корнем до ее сердцевины, не всосал глубинный ее сок, сок сердца земли, и потому принес слабый, вялый, нежизнеспособный плод. Этот плод — он, Нико. В числе многих других. Так что, само собой разумеется, и в Нико отразилось все, что происходило с породившим его деревом или травой от весны и до осени, от начала их жизни до ее заката, сегодняшнего дня, до Нико. Поэтому главное не то, что он знает, а то, чего он не знает. Необходимо не то,



чего он желает, а то, что у него есть, чем он пользуется каждодневно, чем он может поддержать, прокормить себя или причинить себе вред, скажем, хотя бы шаткий топор, болтающийся на топорище. И все же трудно понять, почему человек стремится к долгой жизни, чем так прельстительна жизнь для любого человека, будь то Нико или кто другой. Что хорошего, например, для так называемого ребенка в том, чтобы целую ночь (целые ночи) напролет стеречь в очереди керосиновый бидон — лишь бы наутро принести домой хоть капельку керосина, притом разбавленного, обессиленного (сердце Нико почему-то переполнялось гордостью, когда мама, вернувшись из больницы, одну за другой засовывала красные от холода, оледеневшие руки в жерло едва горячей нежарким пламенем керосинки); или собирать примерзший к земле хворост одной рукой, потому что другая раздулась как бурдюк и посинела, и пропитанный кровью мох, приложенный к еще не затянувшейся ране, поминутно сваливается с руки на землю. А иного надо кормить с ложки и таскать на руках, и все же он цепляется за жизнь, как тот Мафусаил из Нукриани, которого привезли в прошлом году спозаранок на фаэтоне на выборы. Вот это была ночь, так ночь. Нико забыл уже откуда у него растет голова. И другие ребята тоже. Всю ночь с пылающими факелами носились школьники по городу, как оккупанты, из квартала в квартал, из улицы в улицу, от одного двора к другому. Не спали ни минуты. В полночь их всех собрали в школе и с этой минуты не выпускали даже в уборную. Евгения Дугладзе кружила над ними, как настоящая надсмотрщица, вся в напряжении, как взведенный курок. Зато военрук был сам не свой от радости — настал наконец и его час, нашлось-таки для него настоящее дело. «Потерпите еще немножко, ребятки, и разом ударим!» — твердил он прерывающимся от волнения голосом, без конца потирая руки, и то и дело докладывал Евгению Дугладзе: «Все будет в порядке». Школьники действительно были уже готовы «к бою» — держали в руках палки, обмотанные намоченными керосином тряпками, и оставалось только зажечь их. «Я волнуюсь, ты же меня знаешь, Котэ!» — все же сомневалась Евгения Дугладзе, не доверяя полководческому талан-

ту и возможностям своего подчиненного. А он, преподаватель военного искусства, почтительно улыбаясь, «Не тревожьтесь, уважаемая, дайте только ребятам волю — они мертвых поднимут из-под земли». И в самом деле — поднялся такой оглушительный гам, что, казалось, мертвецы повскакали из могил. Возбужденные поднятым ими самими шумом, пущенные по своей воле и даже подстрекаемые взрослыми, дети делали гораздо больше, чем от них требовалось. С отчаянным кудахтаньем кидались в лицо нападающим перепуганные, обезумевшие куры. Куриный пух опускался с неба пеленой, как снег. Собаки раздирали себе грудь о колючие изгороди, задыхались от ярости, от неразберихи этого «неожиданного, предательского нападения». Ревели ослы, задрав оскаленные морды к небу. А школьники еще неистовее, еще громче стучали, лязгали, скрежетали, выпускали вопли, заходились от крика. Повскакав с постелей, не успев одеться и умыться, люди кинулись к избирательному участку. А грузинского Мафусаила привезли торжественно на фаэтоне из Нукриани. Он не мог уже удержать в руке бумажный листок. Агитатор обхватил рукой его пальцы и сжимал ими избирательный бюллетень. Подхватив под руки, вели его к урне, и он послушно семеня за сопровождающим. «Живите долго, будьте счастливы, плодитесь и размножайтесь», — повторял он, догадываясь, что участвует в каком-то празднике, но в каком именно додуматься у него уже не хватало умственных сил. А Нико размахивал факелом и кричал, а по щекам у него текли ручьем слезы — так зло, от всей души прокляла его какая-то старуха, что он разрыдался, никак не мог удержать слезы. На лице у него была размазана копоть, смешанная со слезами, так что даже тетя не узнала его: дескать, не дай Бог, приснится такое, — пожалуй, помру со страху. А нукрианского Мафусаила на том же фаэтоне отправили обратно. Кто-то даже бросил ему цветы в фаэтон, но он их и не заметил. Живите. Радуйтесь. Плодитесь и размножайтесь. Он уже был не от этого мира. Но иногда ведь старики хитрят, прикидываются беспомощными, а по сути еще крепки, сил у них немало. Дай Бог им здоровья! Пусть живут. Никому худа не делают — только своим они в тягость. Ах,



мой свекор совсем как ребенок, право. Хоть один внук, кто бы мог хлестнуть его хворостинной, есть наверно и у него... Но не беда, все выдержит, все ради жизни вынесет грузинский Мафусаил. Немалое ведь дело, братцы! Во всем мире два Мафусаила, и один из них — наш, грузин. Главное, быть знаменитым, а чем прославиться — ей-Богу же все равно. Хотя бы, как Колаполоумный, поисками отцовской могилы, или как Гогия — человекоубийством. Бодбийский Элибо, например, дурак дураком, тем и известен, вообразить только — придумал грушевую пушку, но ведь вот стал человеком, обрел бессмертие, его имя в книгах пропечатано...

Ну а Нико, если бы от него зависело, вообще не стал бы рождаться, раз он не мог жить так, как хотел; только сейчас, конечно, думать об этом и терзаться из-за этого бессмысленно — он уже родился, и дожил почти до пятнадцати лет, вопрос о его бытии или небытии решился шестнадцать лет тому назад, притом без его участия, и хочет он того или нет, а должен теперь жить так, как ему живется. Дороги назад нет, дороги ведут только вперед, — правда, пока еще незримые. Дорогу надо еще найти. Дорогу надо правильно выбрать, а вернее, надо еще многое перенести и все выдержать, прежде чем у него откроются глаза, чтобы разглядеть дорогу. А еще точнее, прежде чем видения, сны или воспоминания, назначение которых — защищать от действительности, уступят место самой этой действительности, прежде чем из пропитанного уксусом и спиртом мрака, в котором он, ухватившись за бессмысленную, беспочвенную надежду, ищет мать, улетевшую, как птица, или угасшую, как пламя свечи, — постепенно, неотвратимо, навсегда, как из камня статуя, изваяется суровая и нерушимая действительность; прежде чем лечебная банка, оставив на спине у него алый кружок прощального поцелуя, оторвется от его плоти, высосав из его обессиленного тела губительную не для одного лишь ребенка, а для всего мироздания болезнь и оставив чувство приятного облегчения. Лишь тогда он догадается, что рожден как продолжатель жизни, а не как летописец смерти, исследователь смерти. С этой верой выйдет он на балкон,



выздоровевший больной, чуть смущенный, растерянный и возбужденный, как актер-новичок на сцену; с этой верой пробудится вулкан его памяти и неожиданно извергнет из гудящих, вечно кипящих своих недр тот первый день, когда мать вынесла его на руках на террасу — только не этого, а другого, батумского дома, и навстречу им, как давно дожидавшийся дракон или как волна бурливого моря, устремилась зелень сада, чтобы залить, затопить, поглотить их; но теперь уже не только терраса, а и сам Нико будет другим. Другой Нико будет стоять на другой террасе — спасшийся от потопа, дважды рожденный, в смятении и растерянности, но не от неведения или послеболезненной слабости, а от обретенной мудрости и упорства, овеянный, насыщенный ядовитыми испарениями природы и жизни, теперь уже незатопляемый, так как отныне он будет знать, что не напрасно приносили ради него жертвы его близкие, что он достоин был не только рождения, но и спасения, ибо и на нем самом лежит обязанность что-то спасти, хотя бы собственную совесть, или все равно еще что, лишь бы оно действительно беспредельно, до боли принадлежало ему одному, будя в нем сладкие или горькие воспоминания, как фотография, где он снят вместе с родителями, или пол, исцарапанный колесиками проданного пианино. Все любимое будет он любить лишь ради самой любви, и все ненавистное будет ему также лишь ради любви ненавистно. Ничто больше не заставит его смириться — ни нужда, ни унижение, ни разочарование, ни неудача, и, что главное, до самой смерти не погаснет в нем вера в то, что из него может когда-нибудь выйти «великий человек»; он не унизит свое, пусть перечеркнутое, детство сомнением и неверием, он никогда не забудет сад своего детства, как бы ни изменило, ни иссушило, ни вырубил его время; не забудет его пьянящего солнца, его блаженно-прохладной тени, его незримых и немолчных птиц, обрывков паутины на шершавых инжирных листьях и внезапно возникшую из темной, душной, сумрачной чащи смоковниц цыганку с обнаженной грудью, которая сказала его матери: «Твой мальчик будет великим человеком»; одной рукой она вцепилась в мамино запястье, словно хотела ее увес-

ти, а на другой у нее сидел свой маленький Нико, грязный и непоседливый, как щенок, то и дело хватавший ее за оголенную грудь, до тех пор, пока мать не сунула ему в руку недозрелый плод инжира и пока из надломленной ножки твердого плода не выросла огромная, круглая молочно-белая капля, чье ослепительное сияние постепенно затопило все вокруг; не затопило, а замаскировало, скрыло от дурного глаза, запрятало, чтобы сохранить для лучших дней в молочной белизне, в своем вечном лоне, чтобы потом, в день окончательного рождения, восстановить с первоначальной явственностью и поднести в дар Нико, вернуть, как единственному и полноправному наследнику. Но и об этом Нико догадается позднее, когда, пропитанный запахами постели, хвори, пота, уксуса и спирта, выйдет после целого месяца болезни или после целого месяца смерти на балкон дедовского дома и, тепло укутанный, подставит лицо солнцу — зрелый и умудренный целым месяцем болезни или целомесячной смертью, перешагнув через рубеж, разделяющий смерть и жизнь, или соединяя в своем существе навеки смерть и жизнь, как отца и мать, готовый разгадывать и преодолевать, ибо смерть даст ему, как отец, силу разгадывать, а жизнь поможет, как мать, преодолеть разгаданное. Разгадка и преодоление определяют, насколько законным или вообще целесообразным было его рождение и, впоследствии, его спасение. В этот день великого преобразования или вторичного рождения во взволнованное сердце Нико ворвется весна — так же просто, беззаботно, без спроса, как во двор к дедушке; так же будут чирикать птицы, так же наполнятся гнезда блестящими, веснушчатými птичьими яйцами. «Придешь сюда или принести тебе молоко на террасу?» — крикнет бабушка из комнаты и тотчас же выйдет к нему с позванивающим стаканом на блюдечке. Выйдет, словно вытянутая, как удочкой, своим голосом. Вынесет молоко своего упорства, упрямства, своей веры и своей надежды внуку на террасу, бросит: «Пей, пока не остыло», — и уйдет назад в комнату, исполнив свой долг, счастливая, победоносная. А Нико, смущенный, растроганный и бесконечно благодарный, провожает с чувством не-

ловкости взглядом одного из значительнейших членов своей свиты, честно состарившегося под его знаменами война — и внезапно тихая, ласковая печаль овладевает им, долгая, бесконечная, как впервые увиденный длинный-длинный поезд, как-то тревожно затихший, чего-то дожидющийся, хотя уже пустой, отведенный в тупик, отмененный, навсегда остановленный, чтобы дать проезд другим, более важным, более нужным, набитым солдатами, пушками, лошадьми, поездам, рядом с которыми не стоит и упоминания детство одного какого-то ребенка; но Нико все же упорно вглядывается в пустое окно поезда своего детства, потому что никак невозможно, чтобы от любого, хотя бы перечеркнутого детства не осталось что-нибудь, хоть что-нибудь. «Невозможно», — тотчас же подтвердит, явившись перед ним, мама и медленно, лениво, как кошка, с аппетитом слизнет с руки каплю молока, потом белым, как лебединое крыло, платком вытрет губы — смятый платок упадет, как убитый лебедь, на стол, — снимет с себя венки из сухих листьев и наденет его на голову Нико. Но и это случится потом, позднее, после потопа. А пока все продолжается по-старому: ветер готов сорвать с места и унести весь свет. Порой он добирается до мыслей Нико, в ярости разрывает их на мелкие клочки, как иной педагог тетрадь ученика, в которой у того вместо школьного задания записаны собственные стихи, да притом еще стихи о любви. Коридоры мозга Нико усеяны обрывками его мыслей, так же как обычные коридоры обычной школы — обрывками обычных тетрадей. А ветер теперь уж катает по балкону пустую бутылку. Развлекается на свой лад. Но как знать, в самом ли деле ветер катает настоящую бутылку? Кто мог оставить пустую бутылку на балконе? Наверно, пришли убийцы. Гогия пришел! Вот сейчас он прикладом выломает дверь и перестреляет всех от мала до велика — посмотрим, дескать, как вы теперь, убитые, расскажете, что я сорвал кольцо с пальца у мертвеца. А бутылка с раздражающим, надоедным грохотом катается по балкону между стеной и перилами, перекачивается туда и сюда; с одной стороны перила останавливают ее, с другой стена запирает до-

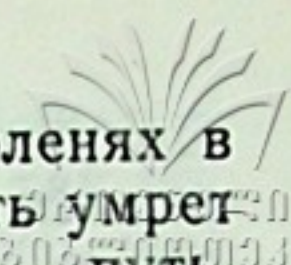
рогу. Но может и прав Нико, вовсе не исключено, что не ветер, а Гогня катает пустую бутылку, затеял такую хитрость, не ломится в дверь, а спокойно дожидается своего часа — когда хозяевам станет невмоготу и они выйдут на балкон подобрать бутылку; и уж тогда воспользуется случаем и покончит со свидетелем своего злодейства в его собственном гнезде.

Все может случиться, но, между нами говоря, Нико, порядочный трус, истинный внук своего дедушки и его копия, а может быть, и превосходит деда в трусости, поскольку перенес и претерпел не только свои собственные, но и все пережитые его близкими страхи, и притом не единожды, не случайно, а намеренно, сознательно и многократно, всякий раз, как приходило настроение; и тогда он воображал, разукрасив в мыслях, преувеличив и, разумеется, опоэтизивав то, что случилось с другими, какую-нибудь опасность, приключение, о котором он слышал от близких, происшедшее, быть может, и до его рождения, и как бы сам вновь переживал его; такие воспроизведения порой превосходят подлинники по остроте и напряженности и сохраняют дольше, чем подлинники силу воздействия, так что, скажем, прогудевший некогда над дедом набат страха еще мощнее гудит в представлении внука, еще тревожнее его зловещий звон, хотя бы потому, что в этих вызванных внуком видениях многое происходит не так, как было в действительности, а так, как ему, внуку, хочется; и то, что в видениях Нико происходит, опять-таки благодаря его изобретательности, таланту и в высшей степени чувствительной природе, во много раз превышает по силе и напряжению действительность. Так, например, вспоминая о временах своей воинской службы, дедушка никогда не рассказывал о том, как переходил через мост передовой отряд, не рассказывал по той причине, что сам никогда не видел этого передового отряда, не видел и не мог видеть, поскольку когда тот передовой отряд переходил через мост (если переходил), дедушка уже был далеко, едва ли не за Лочинской балкой — страх беглеца подгоняет, как говорится, хотя главный воображаемый представитель этого передового отряда

был еще дальше от всего, что творилось и что вооб-  
ще было в ту пору на земле, по той весьма важ-  
ной причине, что еще и не родился на свет, и не ма-  
ло воды утекло с той поры до того, как он явился в  
мир; и все же всякий раз, обращаясь в мыслях к  
делам времен дедушкиной солдатской службы, он яв-  
ственно видел перед собой тот передовой отряд, яв-  
ственно ощущал напряженно сжатую в предутренней  
темноте, на мгновение замершую, застывшую на мес-  
те, но по сути неудержимую его силу, неодолимое  
стремление — передового отряда, появлением кото-  
рого, если можно так сказать, начинаются присвоен-  
ные им дедовские воспоминания, как бы пьеса без ге-  
роя, или, точнее, спектакль, состоящий из чужих вос-  
поминаний, в каждом акте которого главный герой —  
он сам, и каждую «интересную» роль он один испол-  
няет со страстью, с волнением, с порывом. И это не  
для простого развлечения, а иной раз и во спасение,  
для того, чтобы отвести еще одну, очередную, невесть  
откуда взявшуюся опасность. Это — еще одно свое-  
образное (и достаточно надежное) средство самоза-  
щиты: Гогия, с выпученными, сверкающими глаза-  
ми и с двустволкой в руках ищет его, чтобы убить,  
а он укрылся, затерялся в какой-то сказке, преобра-  
зился сперва в седого, опирающегося на палку гене-  
рала, собирающегося обратиться с речью к солдатам,  
поднятым по тревоге из окопов, а потом в само это  
поднятое из окопов полусонное войско, с трудом рас-  
правляющее суставы после долгого лежания на жест-  
кой земле, войско, которое толком еще не понимает,  
что случилось, зачем его вытащили из прогретых  
наконец, пропитанных человеческими запахами око-  
пов, не знает, радоваться или печалиться тому, что  
без боя покидает поле сражения, ликовать или трево-  
житься, и, взбудораженное всевозможными мыслями,  
надеждами, расчетами, сомнениями, страхами, ждет,  
что скажет ему любимый старик-генерал, который,  
опираясь обеими руками на палку, глядит задумчиво  
себе на ноги, внешне спокойный, невозмутимый, как  
подобает настоящему генералу, а внутренне, в глуби-  
не души не менее взволнованный, не менее встре-  
воженный, чем его солдаты. И, однако, он не показы-  
вает виду, соблюдает достоинство своего звания и


медленно, степенно шагает перед выстроившимся войском, подпираясь тростью, словно прогуливается где-то там в своей усадьбе, по своей любимой аллее. Временами он останавливается и свободной рукой поправляет поднятый ворот шинели, защищая лицо от падающего снега. Собственно, снег идет уже давно, но он как бы только сейчас это заметил. «Ура-а», — несмело, не в полный голос кричит войско — растерянное, испуганное, нахохленное, озябшее; быстрый, косой снег бесшумно опускается в покинутые окопы и исчезает в еще не остывшей, сумрачной их пустоте.

А войска уже пробираются со стуком, скрежетом и грохотом через Тбилиси и оставляют в пустынных улицах резкий, душный запах — густо замешанную смесь множества разных запахов: брошенных окопов и погашенных полевых кухонь, пропитанной потом кожи и отсыревшего сена... Какие-то люди с развевающимися на ветру шелковыми платками на палках, раздирая воздух визгом зурны, поднимаются по крутой улице в противоположном направлении. За домами, поверх крыш, парит призрачный купол храма. Это — Тбилиси времен воинской жизни дедушки. Он несколько не похож на Тбилиси времен Нико, смотревшего на него сквозь решетку окна комнаты матери и ребенка или из извозничьего экипажа. А сам Нико сейчас в образе собственного дедушки — без фуражки, в разодранной шинели (винтовку и лопату он давно зашвырнул в кусты), пробирается, спеша и задыхаясь, сквозь заросли Лочинис-хеви, шагает по колено в густой смеси снега и воды, хватается за колючие ветки, ослепший и оглохший, потому что одинаково боится как врагов, так и своих. Точнее — дедушка всегда это подчеркивает — он не знает, кто враг, а кто — друг, или почему враг — враг, а друг — друг. Неведомы ему приметы, по которым можно было отличить врага от друга, никто ему этого не объяснил, не растолковал. А недобро, враждебно безмолвной Лочинской чаще не видно конца, растянулась чуть ли не до края света. Сердце у дедушки — то есть не у дедушки, а у олицетворяющего его внука — вот-вот остановится, замрет. «Господи, чем я тебя прогневил, какой на мне грех, почему ты не захотел подарить мне хоть один спокойный день?»



— взывает он, подняв лицо к небу, на коленях в талом снегу. Больше он не в силах идти, хоть умрет на месте, а не сможет встать, продолжить путь. Впрочем, пути, собственно говоря, уж никакого и нет, он застрял в мерзлом болоте. «Черт с ней, с семьей, к дьяволу все на свете!» — кричит он, обессиленный, свесив голову над ледяной жижей. Руки его по локоть увязли в льдистой воде. И все же он не хочет подниматься, не встанет, назло Богу и людям, раз и люди и Бог от него отвернулись. Пусть он трус, что из того, страх, трусость — это теперь слова без смысла. Человек всегда боится кого-то или чего-то — а ему (дедушке) уже никто не страшен, все что могло его пугать, потеряло значение, лишилось смысла, растворилось в талом снегу, перемешалось с мерзлой грязью. Он уже не помнит — а если бы и помнил, то не смог бы нарисовать в воображении — свою жену, единственную свою гордость; не может увидеть мысленным взором свою десяти-, нет, уже одиннадцатилетнюю дочь, предмет своей горячей любви (теперь это мать Нико). Не может представить их себе, потому что ничего нет вокруг соответствующего им, достойного их, утверждающего их бытие и оправдывающего их существование. Семья и домашний очаг — принадлежность, достояние человека, а не униженного, раздавленного, растоптанного несправедливостью, неведением существа — падшего как духовно, так и телесно, в самом прямом смысле этого слова. Да, да, он не то что пал, а почти перестал существовать, чуть ли не сам превратился в грязь, валяется в грязи и ест ее, всхлипывая, не видя перед собой пути, растеряв все свои мысли. Единственная мысль еще тлеет в его мозгу, сохраненная с времен человеческого бытия, свидетельствует о его принадлежности к людям: «Не умереть бы здесь. Лишь бы здесь не умереть».

Вдруг из невысокого, редкого кустарника выезжают двое верховых. Они останавливают лошадей и некоторое время молча глядят на человека, стоящего на коленях в талом снегу. Потом один из них скидывает винтовку одной рукой, упирает ее себе прикладом в плечо и прицеливается в коленопреклоненного человека, словно вылепленного из грязи.



Дедушка рассказывает, что уже ничего больше не боялся — а тем более, этих — они больше пугали его в воображении, так как он ведь не знал, как они выглядят на самом деле. Дедушке (Нико) все еще трудно дышать, он задыхается, хрипит, но спокойно смотрит в дуло направленной на него винтовки. Дедушка говорит — самый тяжелый страх тот, которого уже не чувствуешь. «Не стреляй», — говорит всаднику с винтовкой его товарищ. «Почему?» — удивляется первый. Винтовка все еще прижата прикладом к его плечу. Лошадь, удивленная не меньше, чем ее всадник, закружилась на месте, пытается укусь себя за хвост: что это, мол, я слышу, разве можно щадить врага? Всадник невольно поднимает винтовку вверх, чтобы не задеть дулом товарища. А дедушка стоит на коленях, окаменев, безмолвно, словно он всего лишь кусок неживой глины. Пусть в него всадят пулю или пусть затопчут его лошади, — он не издаст ни звука. Разве что чуть вскрикнет под копытом, но ни слова не произнесет, ничем не проявит своей человеческой сущности, ибо дух, который некогда превратил глину в человека, отлетел от него и, лишенный души, он вернулся к своему первоначальному состоянию. Вот и все. И вообще, если все, и чужие и домашние, оставят его в покое, он будет только благодарен. Не его это дело, размахивать винтовкой и возиться у орудий, торчать на станциях у костров, подкидывая в них доски от пустых снарядных ящиков, плевать в огонь и ругать сбежавшее правительство. То помянут Деникина, то заведут речь о турках. Сидят, жмутся в наскоро вырытых окопах около Натанеби или на подступах к Туапсе. Оттого и наострил лыжи дедушка по направлению к дому. И вот он уже миновал Лочинский лог. Верховые не застрелили его и не дали затоптать лошадям — ты, мол, сам себя так уходил, что и без нас с тебя довольно. И вот он плетется к дому в бессмысленной, беспочвенной надежде, оцепенелый от стужи, с намерзшей на усах и бороде глиной и грязью, пропахший солдатской, окопной вонью, изголодавшийся... Мокрая шинель мешает ему идти, но он не может от нее избавиться, она словно приросла к телу... И он бредет, плетется, трусит, то по тропинкам,



то, не разбирая дороги, напрямик... Так он бежал к дому, потому что такова природа человека и так устроена жизнь: словно бы достигнешь желаемого, женишься, родишь дитя, вот-вот исполнятся твои мечты — и тут-то судьба вздымает свой тяжкий молот. А человек все бьется, воюет, мучается, копается в обломках своей мечты — высиживает, выкармливает новую, очередную мечту, чтобы еще раз, сызнава потерпеть поражение. Это и называется жизнью, такой она дана от Бога, и изменить ничего нельзя, потому что жизнь или есть, или нет, изменить ее — значит уничтожить, и это будет смерть, ничто. Поэтому так будет всегда. Так будет всегда. «Так будет всегда» — гудело в ушах у дедушки, и словно перепуганный, преследуемый зверь, продираясь он через непроходимый кустарник. Так будет маяться и терзаться всегда человеческое отродье, — думал он взволнованно и сбивчиво, и как бы всем существом ощущал значение этих мыслей. Так будет маяться и терзаться человек — одному Богу ведомо, до каких пор, ибо только от воли Бога зависит, освободит ли он того, кого сам заковал, простит ли потомство того, кто сразился с ним, ибо потомство закованного заковано также, в свою очередь. Дедушка говорит (наверно, из страха перед Богом), что Амирани был не герой, а хулиган, он и с Богом не захотел считаться — и оттого был в конце концов посажен на цепь. И вот, до тех пор, пока не простит сам Бог, несбыточная мечта и беспощадная надежда будут сохранять жизнь человеку, ибо сама жизнь, оказывается, есть несбыточная мечта и беспощадная надежда. Но ведь может случиться, что когда-нибудь смягчится сердце Бога, мыслимо ведь, что он простит человеку попытку сразиться с ним, с повелителем, простит желание одолеть его, и в поступке, который дедушка окрестил хулиганством, увидит стремление человека к величию, выражение неисчерпаемой силы и непреклонной воли человека? — «Неужели не смягчится никогда сердце Бога?» — думал дедушка, едва переводя дыхание, с бешено колотившимся сердцем, с лицом, расцарапанным в кровь колючими ветками кустов, кутаясь в разодранную шинель и хлюпая оторванными подошвами. «Как знать, — думал он на

бегу, — может, придет в один прекрасный день спасение, распрямится, увидит небо и ясное солнце при-  
давленный, лишенный заступника и предводителя  
народ». Так думал он, распаленный страхом и внезап-  
но зародившейся надеждой, взбудораженный, ощу-  
щая прилив сил от сознания грозящей гибели, и хотя  
бы только поэтому способный и готовый преодолеть  
любые пространства, любую пустыню. «Может, и  
удастся нам избавиться от скверны и сберечь все до-  
брое», — думал он и верил в истинность своих мыс-  
лей, а поверив, еще глубже, еще смелее входил в  
глубь этих дум, словно в бесконечные, бездонные пе-  
щеры, где на каждом шагу мерцали огромные, похо-  
жие на застывших, неподвижных чудовищ или дэвов  
сталактиты, — мерцали холодным, стеклянным, непри-  
ятным светом. «Как знать, может, дождемся, и ска-  
жут про нас, что были мы достойны жизни, стоило  
дать нам волю». Шел дедушка вперед, продираясь,  
ломая ветви, сквозь непроходимые заросли, шлепал  
по коленам в потоках, прыгал с бугра на бугор, пере-  
носился с горы на гору, возбужденный, распаленный  
— словно даже восторженно неся то ли к концу, к  
гибели, то ли к дому, к жене, к любимой дочери.  
Шел вверх по потоку, против могучего течения всеза-  
топляющего времени, и уже едва передвигал ноги,  
собственная тяжесть неподъемным, неуклюжим  
грузом пригибала его к земле: словно с самого дня  
рождения шел он так, рассекая грудью стремнину  
времени, и чем больше приближался к дому, тем труд-  
нее становилось ему идти, тем тягостнее было дыха-  
ние... сама, вообще, жизнь. Он подумал даже разок,  
не повеситься ли, всему свету на поглядение, на  
собственном поясе, на каком-нибудь придорожном  
дереве, не поставить ли раз и навсегда крест на  
всей жизни, с предками и потомками... И все же он  
шел, шел, обходя кругом деревни, хотя и вселяли в  
него как-то надежду доносившиеся оттуда звуки и го-  
лоса — собачий лай или петушиное пенье. Порой, в  
поле или на гальке речного русла, бросался ему в  
нос запах стада и, весь обессиленный, безоружный,  
он с трудом пробивался сквозь него, как сквозь спе-  
лую ниву. Когда наконец в сгущавшихся прозрач-  
ных сумерках он различил знакомую калитку, то

вместо облегчения и радости налетел на него внезапный страх, потому что он сразу понял: самым опасным для него местом был именно собственный дом, поскольку именно здесь, в собственном его доме, должен был прежде всего искать его всякий, кому он мог понадобиться — как друг, так и враг. Но, вместо того, чтобы повернуть назад, он с силой рванул калитку и побежал к дому, крича: «Даро! Даро! Даро-о!» — и так повторял имя своей жены, пока не остановился как вкопанный перед лестницей — на террасе стояла в одной ночной рубашке, со скрещенными на груди руками, его жена и молча, хмурия лоб и сжимая губы, смотрела сверху на него. Она была похожа на разгневанного ангела, сошедшего с фрески, — так рассказывал дедушка. Холод пронизывал насквозь, а она стояла на балконе в одной ночной рубашке, и руки ее под короткими рукавами покрылись гусиной кожей, но лицо горело, как будто ей было жарко. «Ступай за врачом, скорей!» — сказала она строго. Ни ласки, ни приветия, сразу давай доктора. «За врачом?» — удивился дедушка, но не посмел взглянуть жене в глаза и беспомощно пробормотал: «Ладно, приведу, если застану дома». «Отыщи», — коротко отрезала жена, бабушка Нико, но только врач был нужен тогда не для Нико, а для его матери. Нико вообще еще тогда не существовал. Это теперь, через столько протекших лет, он разгуливает по тогдашнему времени. Дедушка добрался-таки до дома, и уже успел побежать за доктором, худо ли, хорошо ли, но вернулся к обычной своей жизни, а он все стоит тут, в пустом, брошенном окопе, что извивается темной щелью по заснеженному полю. А передовой отряд, такой волнующий своей наружной простотой и внутренней — не притворной, а поистине непроницаемой таинственностью, своим пропущенным мимо внимания по ребяческой небрежности, или неосознанным до конца по столь же ребяческому неведению, смыслом и значением — что, наверно, и вызывает частое повторение одной и той же чуть ли не вечной картины, одного и того же видения, — все снова (Бог весть в который раз) повествует о своем вечном пути, проложенном сновидцем в его же, сновидца, сознании; а

он, сновидец, вглядывается в клубящуюся, как чер-  
ный дым, тьму и ждет с бьющимся сердцем, когда  
же вырисуется во мраке еще более темным, еще бо-  
лее плотным пятном как бы сжавшийся в кулак  
передовой отряд, чтобы через минуту (хотя и это  
зависит от желания и терпения сновидца) на сво-  
их фыркающих лошадях, со своими зачехленными  
винтовками и барашковыми папахами, громыхая  
копытами и звеня оружием, переместиться из тьмы  
того берега во мрак этого — словно бы нехотя, не-  
решительно перебраться конным строем по мосту;  
и под бесчисленными, подкованными железом ко-  
пытами еще раз глухо, тяжело загудит, сотрясаясь,  
старый каменный, иссохший, выщербленный мост,  
некогда пропускавший через себя целый караван  
— нет, караваны! — с их ковровыми выюками, гро-  
моздящимися на спинах лошадей, мулов, верблюдов,  
— загудит глухо, тяжело, как земля во время земле-  
трясения, застонет, безвременно и небрежно разбу-  
женный, вызванный из прошлого, чтобы еще раз  
послужить мостом между грядущим и минувшим.  
Под темными сводами моста замечутся, сор-  
вавшись с мест, перепуганные летучие мыши, за-  
бьются еще глубже в расщелины между камня-  
ми жабы Адамовых времен, сердито вскинутся  
меченные временем пауки; но никого не инте-  
ресует, что творится в затхлых и темных под-  
мостных недрах, всем не терпится поскорее пе-  
ребраться на противоположный берег — пусть как  
можно спокойнее, безболезненно, без шума, без  
крови завершится эта затянувшаяся, бесконеч-  
ная переправа с одного берега на другой, из  
одного мира в другой, и вот, опять и опять, ос-  
торожно, неуверенно, словно нехотя, проходят ко-  
ни со своими всадниками, топоча, по мосту, и  
на дальнем берегу их встречает такой же мрак,  
какой они оставили на ближнем, такой же  
мрак, близнец прежнего, его часть, но уже  
пронизанный утренней зарей, уже подточенный  
червем света, обреченный на распад и разложение  
и, сверх всего, испуганный, скованный, обмерший  
от внезапной песни петуха. И поэтому Нико ждет  
с бьющимся сердцем появления передового отря-

да, о котором и сам дедушка ничего не знает, — не только потому, что даже издали его не видел, но и оттого, что появление его, этого передового отряда, обозначив конец дедушкиной Грузии, знаменует в то же время начало Грузии Нико. И петух потому-то и выводит так громогласно, так оглушительно свою песню, что поет на рубеже, на разделе — или на скрещении двух миров, где-то вдалеке, быть может, в самом Тбилиси, в каком-нибудь из пригородов, на подступах к городу, в Ортачала или в Крцаниси, поет, добросовестно исполняет свою обязанность — раз уж создал его творец петухом, он и должен петь, но этот, как будто бы самый мирный, естественный, знакомый от рождения и от рождения ставший родным голос делает еще более нечеловеческим, еще более чуждым, непонятным, неосознаваемым, непостижимым все вокруг. И передовой отряд молчит, словно и он прислушивается к песне петуха, словно он понимает петушиный язык и, если прислушается, поймет, что хочет сказать ему петух: остерегает или угрожает, приглашает или гонит прочь, благословляет или проклинает. Раз отряд пришел, то обязан выслушать и петуха, узнать мысли, мнение здешних петухов. И в самом деле, один из бойцов отряда, вероятно, лучше других понимающий петушиную речь, бледный от бессонных ночей, закаленный голодовкой, распаленный усталостью, поднимается в стременах, закидывает голову, взглядывает на еще невидимое небо и отвечает петушиным же криком поющему где-то вдали, чуть ли не на другом конце света петуху. Товарищи его смеются, негромко, осторожно, напряженно, скорее, пожалуй, чтобы подбодрить друг друга или, еще вероятнее, подзуживая поющего петухом соратника — надо же наконец прояснить все до конца! Пора! Время не терпит. Новый день уже клюнул скорлупу изнутри, скорлупа уже треснула, и сквозь трещину уже сочится животворная сила жизни. А тот, кто воображает все это, стоит в пустом окопе, сложив руки на оснеженном земляном бруствере и смотрит внимательно и напряженно на хохочущий отряд, так как только он один знает, что еще должно случиться, и так как все, что случится, произойдет лишь че-

рез его посредство, по его воле, в его представлении; захочет — переведет отряд назад, на тот берег по мосту, захочет — распустил его и рассеет, как сухие осенние листья по чистому полю, но только поступив так, он обещенит прежде всего свое воображение, которое именно тем и драгоценно, именно тем и подкупает, что в основе его лежит действительность, то, что случилось на самом деле и что даже «приукрашенное», или «опоэтизированное» сохраняет силу и непреложность факта — хочет того или не хочет воображающий, нравится это ему самому или не нравится.

## 2.

**П**оверить тетке Нико, сестре его матери (не может же быть, чтобы человек всегда говорил против правды!), — так причина всех его бед — это ревность: он, оказывается, ревнует свою мать и потому потерял охоту учиться, совсем одичал, дождался того, что выгнали из школы, подался — подумайте! — в разбойники, никого, ни близких, ни дальних, кроме Вало Бадалашвили, не уважает, навлекает на себя всяческие напасти, ввязывается в опасные приключения и потому, — разумеется, только потому — лежит сейчас пластом, сложив, как мертвец, на груди руки, исполосованный и исцарапанный, словно после сражения с целой сворой кошек, и залег, видимо, надолго (если не навсегда).

Тетя вообще любительница нравоучительных разговоров, и не то, чтобы ее речам не хватало убедительности, но ведь она сама утверждает, что с детских лет ни разу не сказала правды — вот поэтому ей никогда не верят, что бы она ни сказала, считают выдумкой, которую она сболтнула зря или нарочно, чтобы позлить кого-нибудь. Собственно, она и сама не старается опровергнуть такой взгляд, и когда бабушка рассердится иной раз на нее и цыкнет: — «Довольно, нельзя же столько врать!» — она не вспыхивает, не заливается краской, не надувается, а спокойно объясняет, что, мол, так надо, нынче не врут толь-

ко дураки, и продолжает свое. А Нико, по ее словам, бесится из-за того, что его мать любит мужа больше, чем сына, что она предпочла мужа сыну — услала мальчика за тридевять земель, куда-то в затерянный Сигнахи, а сама осталась с мужем... Но если даже это все верно, что тут плохого? Разве это можно осуждать? Где любовь, там и ревность. Если любишь, то и ревнуешь. А не любишь — так и не ревнуешь, не знаешь, что такое ревность, какие у нее острые когти... И все тебе безразлично. И мать нельзя осудить за то, что она предпочла мужа сыну, потому что сначала был муж, а потом уже родился сын. Вот мать и выбрала первого... главного. Женщины, настоящие женщины, всегда поступают так: им нужен или тот, или другой. Тот и другой вместе — это у них не получается, хоть зови их потаскухами, хоть бей их дубинкой по голове. «Глянь, Камар — вот потаскуха! Ей милей отца — присуха». Наверно, и милее, дороже сына. Если, разумеется, у Амирани был сын. Вану-учитель говорит, мы все — дети Амирани, но возможно ведь, что у Амирани был свой собственный, настоящий, кровный сын. Почему бы и нет? Какая женщина отказалась бы родить сына такому герою, как Амирани? А тем более — Камар! Потаскуха? Потому что любила? Потому что пожертвовала и пренебрегла всеми ради своей любви! Не послушалась родителя. Это, конечно, нехорошо, но и родитель не должен мешать женщине в выборе того, что самим Богом, природой велено ей избрать, потому что она — женщина, всего лишь половина существа, то есть — ничто, до тех пор, пока не отыщет свою вторую половину, пока не объявится ее Амирани. Отец для женщины — прошлое, муж — будущее, и она, как олицетворение вселенной, подобно вселенной и вместе с нею, не задумываясь, без сожаления и сомнений переходит из прошедшего в будущее, дабы тотчас же приняться за исполнение своего, возложенного на нее Богом, природой долга: превратиться в единственного союзника, единственного друга своей второй половины, своего Амирани, вернее, сначала превратиться в птицу Фаскунджи, чтобы освободить его из преисподней, потом — в собаку, что-

бы всю жизнь, всю вечность лизать, истончая, цепь, которою прикован этот самый ее Амирани. Что ж тут удивительного, если она не помнит о своем сыне? Видимо, и сын не заслуживал памяти, не удался, вышел из него мямля, слюнтяй, недостойный отпрыск достойного отца, что совсем и не удивительно: трудное это дело — быть сыном Амирани, да и вообще — сыном прославленного человека. Дети таких отцов, похоже, сразу рождаются как бы пришибленными, словно тяжесть славы отца с самого начала придавливает, обессиливает их. Да и в самом деле, легко ли это: еще и кости порядком не окрепли, и вдруг — такой огромный груз на плечи! И поэтому никто не вспоминает бесславного потомства прославленных отцов — имя же ему легион. А тетя, распаленная своими соображениями («Дайте хоть дома поговорить не чинясь, высказаться напрямик!»), любые промахи и неудачи Нико (и все его недостатки: лень, невоспитанность, грубость и Бог знает еще что) объясняет только ревностью — и больше ничем. А если тетя что-то вобьет себе в голову, то с этого не сойдет, заладит одно и всех постарается уверить в том, чему, вполне возможно, не верит и сама, но что почему-то ей нравится, ее устраивает. Это потому, что она и сама несчастна, ее тоже не пощадила жизнь, и Сигнахи для нее, как и для Нико, тоже лишь убежище, где она спасается от своей недоли, от своего одиночества. И так как ничего своего, собственного, у нее нет, она хватается за Нико, как утопающий за соломинку — она ведь еще и не женщина, еще и не дождалась своего Амирани, своего героя, который должен в один прекрасный день появиться в Сигнахи (был бы такой — сто раз уже бы явился!) и спросить именно ее, а не кого-нибудь другого: «Скажите, сударыня, где гостиница в этом городе, будь он не ладен?» Так что пока еще она не птица-Фанскунджи и не собака, и сражается так отчаянно за то, чего не существует, обороняет зубами и когтями то, что незачем и не от кого оборонять, чего никто у нее не отнимает, что вообще нельзя отнять, и назначение чего ей самой по сути неизвестно, только она скорее умрет, нежели признается в этом, потому



что, по ее глубокому убеждению и в соответствии с ее последними размышлениями, во всем, бесспорно, виновны старшие, в первую очередь, разумеется, свои, родные, самые близкие ей люди, которые по-настоящему любят ее, и кого она может не стесняться. Словом, рада осилить того, кого не боится, кто поддается и дает себя побороть. Что ж, вся в своего отца. На дворе робка, а дома смела. На людях слова из нее не выдавишь, а дома стоит ей сказать что-нибудь поперек — вспыхнет, полыхнет, как пламя из печки, когда в печку вдруг плеснут керосину. Дома она одна знает, что нужно и чего не нужно, как следует и как не следует жить. На все у нее свои особенные, новейшие взгляды, и ничто старое, отжившее, довоенное ей не нравится. В войну, оказывается, у людей внезапно открылись глаза и они увидели прежде всего, как беспощадно время, как оно быстро проходит... (Тик-так, тик-так — и пролетело. Ищите потом в письмах, закапанных слезами, в источенных молью платьях, на выцветших фотографиях...) Отсюда вывод: если не торопиться, если не взять сегодня то, что выделено на твою долю, то завтра будет поздно, и уйдешь с пустыми руками, пустым сердцем, пустой головой назад, в небытие, откуда нет возврата, вернешься туда таким, каким пришел оттуда. «Ничего вы не понимаете в этой жизни, — горячится, бурлит, тоскует она, порой даже перемежает плачем сбивчивую речь, не справляясь с чувствами, взволнованная, взбаламученная, — вы все поражены добровольной слепотой и глухотой, и вам даже Бог не поможет, потому что те, на кого Бог наслал слепоту и глухоту, не только чувствуют, но и не скрывают своей беды». С такими, или примерно такими обличениями обрушивается она на своих близких. И при этом время от времени щелчком откидывает со лба выбившуюся прядь. Дома она не только смела, но и красноречива. Возможно, многое взято из книг — что правда, то правда, книги ей дороже самой себя, она и Нико прирастила к чтению, без книжки не ложится спать, хотя Нико она ни в коем случае не позволит читать в постели — а ведь в постели

ли-то как раз и приятно читать, небось, сама она не отказывает себе в этом удовольствии; но сама она, как не раз говорила Нико, — совсем другое дело, она погибшая, ей ничего уже не поможет, потому что снег повалил (это она понимает войну) именно тогда, когда пришло ее цветенье (то есть настала пора ей выйти замуж), а у Нико все впереди (Нико, Нико, будь хоть ты счастлив, слышишь? Ради меня, вместо меня, вместо всех нас); но главный разговор у нее все же с отцом, то бишь с дедушкой Нико; вот уж тут она распускает паруса, не дает ему голову поднять, пока сама не иссякнет, потому что главный виновник всех бед все-таки, оказывается, он — как старший в семье, рулевой их общей жизни и судьбы, наставник каждого. Он, ее отец и дедушка Нико, виноват в том, что девушки ходят зиму и лето в одной и той же паре обуви, — не только в Сигнахи и в Грузии, но и во всем Советском Союзе; в том, что любой товар — по бешеной цене, все равно, с прилавка или из-под прилавка; что мыло жидкое, а яйца в порошке; что она сама осталась незамужней, а Нико растет без матери и отца. «И так-то вы думаете вечно жить?» — кричит она на отца, на дедушку Нико, который так торопился домой из Цно-ри, и теперь только и мечтает прийти в себя, отдохнуть малость в своем углу, позабыть хоть до завтра рычащую как голодное чудовище, поджидающую за дверью жизнь. А она, самозванный надсмотрщик и пристав всей семьи, убежденная в своей правоте и в своем праве, кричит, встав перед ним: «Я не могу так, я больше не могу, придется вам без меня идти дальше своим путем, и вообще пропади вы все пропадом, если я буду несчастна!»

Дедушка уставился себе в колени, от страха у него волосы стоят дыбом на макушке, и время от времени, как бы не в ответ, а сам по себе, он отзывается — обращаясь не к дочери, а к жене, то есть к бабушке Нико: «Хватит, милая, ведь и у стен есть уши!». Бабушка говорит: «Столько погибло на войне ее товарищей-одноклассников, немудрено, что у нее нервы расстроены». Впрочем, не исключено, что не Нико, которого она обвиняет в

ревности, а она сама ревнива, сама ревнует к своей старшей сестре, матери Нико, да по сути сказать, ей скорее и подобает ревновать, и есть на то причина: во-первых, она — младшая сестра, притом незамужняя, а старшая прожила уже такую бурную жизнь, что голова закружится, если прочтете такое в книге или увидите в театре; пожалуй, даже и не поверите, что могло в действительной жизни подобное случиться, что в самом деле может так запросто смениться безмерное счастье беспредельным несчастьем. Начать с того, что выйдя замуж, уехала она с мужем в далекий приморский город, а не в соседнее Сакобо или в Чотори; что мужем ее стал именитый, представительный человек, а не Серго Цалтвинишвили или Кола-полоумный; и что, главное, вышла она замуж по любви — сама была еще школьницей, а тот именитый человек — студентом, когда они полюбили друг друга; и поженились они раньше, чем обвенчались. Где бы они ни появились, всюду обращали на себя всеобщее внимание, все в один голос говорили: «Какая прекрасная пара!»; Бог наградил их сыном, к тому же таким сыном, как Нико; счастливая жена, счастливая мать, она боялась признаться в своем счастье; «Не огорчайся, увидишь, ты будешь еще счастливой», — писала она младшей сестре; писала она сестре, а имела в виду всех девушек на выданье, ко всем вместе обращалась в лице своей сестры, перед всеми извинялась, говорила о великодушии и просила прощения в каждом письме, так, словно она присвоила сестринскую — и всех других девушек — долю счастья, и считала количество его чрезмерным, неподобающим, тяжким для одного человека; словно она не верила, что вообще достойна счастья — и вот, Бог разгневался на нее за неверие, и именитого человека приковала к постели какая-то диковинная, словно и впрямь с неба ниспосланная болезнь, и притом именно тогда, когда рушился весь мир, и когда так нужна была его рука семье — молоденькой, неопытной, незакаленной бедами жене и неоперившемуся сыну. Взмыло, закружилось зловещее воронье невзгод, но старшая сестра, избалованная

счастьем, изнеженная, как комнатный цветок, в беде оказалась бесстрашной и упорной, как волчица: сына тотчас же отправила к родителям, а сама, засучив рукава, прикрыла грудью распластанного на одре болезни мужа, и вот — до сих пор отгоняет зловещее воронье несчастья, лезет из кожи вон, чтобы отбить у смерти обессиленного мужа. Какая же младшая сестра не приревнует подобную старшую сестру, в особенности, если она сама окончила и школу, и техникум, и все же сидит дома в девках? Собственно, она не то чтобы совсем дома сидит, может, даже работает счетоводом в кинотеатре, но вот замуж не вышла, наверно, так и не выйдет — потому что не осталось мужчин, и не только именитых, но и обычных, вообще мужчин: не вернулись с войны, перебиты, исчезли, надолго, надооолго, если не навсегда. При этих словах она воздевает руки и вытягивается, как кошка: «О-о-о. Нико, если бы ты знал, как мне скучно!» Скучно ей, собственно, тоже из-за ее дурного характера: ведь вот люди только идут в кино, а она уже давно вернулась оттуда. А до этого, затиснувшись в крохотную комнатку, она часами копается в бумагах, как курица в мусоре, и щелкает костяшками на счетах. Душно ей, задыхается — но не высунет голову в окошко. А дома ноет, жалуется: «Не могу больше, ошалела, стуча на счетах, мозоль на пальце выросла, вот увидите, придется палец отрезать». И взмахивает рукой, поправляет на лбу выбившиеся волосы. И все упрямо доказывает, что нынче не существует больше ни любви, ни верности. Нынче, оказывается, не только простительно, но даже обязательно то, что до войны считалось постыдным, и наоборот, то, что до войны было приемлемо и обязательно, теперь считается глупостью и отсталостью. И поэтому, если Бог на нее разгневается и она полюбит кого-нибудь, то не будет всхлипывать по ночам, накрывшись с головой одеялом, не заплачет себе глаза, как довоенные девчонки, а явится к тому, кого полюбила, и скажет: «Вот так оно, друг, получилось, а теперь, хочешь, женись на мне, а хочешь, стану твоей любовницей». Бывает, бабушка рассердится на нее, цыкнет: «Замолчи, не

срамись, услышит кто-нибудь, поверит, что правду говоришь» — тогда она еще дальше забредает в чащу своих новейших мыслей о жизни, в эту воображаемую, выстроенную согласно ее новым соображениям жизнь, модель жизни, которая, по счастью, существует пока только в ее голове, и которую осуществить она упрямо грозитя именно при тех людях, которых одинаково пугает и страшит любая, самая маленькая, незначительная перемена в жизни — все равно, дома или в окружающем мире. Но на самом деле она не такая — только хочет быть такой; думает, что при этом лучше сумеет защитить себя от жизни; однако пока что ей удастся это преобразование только среди своих домашних, только дома, в тиши, когда она укрыта от жестокого взгляда жизни, потому что в глубине души она так же боязлива и незлобива, как ее близкие, она из их породы, и наверное это тоже немного ее раздражает, как и Нико, хотя против природы ведь не пойдешь, ни у кого это не получалось, так что, хочешь, не хочешь, а придется ей нести до конца, как крест, свою природу, до конца спорить с нею и покоряться ей, возиться с ней, собственной природой, и лаять на нее, как маленькая собачка, испугавшись большого пса, лает на хозяина — зачем он оставил ее наедине с этим чудовищем.

Но когда понадобилась, когда она оказалась необходима старшей сестре, семнадцатилетняя девушка, которая до сих пор ни разу не покидала родных мест — разве что бывала в каком-нибудь соседнем селе на сборе винограда, да и то вместе с подружками, — отправилась одна в Батуми, на другой конец света, да еще по пути пересаживалась с поезда на поезд, и это в такие времена, когда кроме билета, — который получить было очень и очень трудно, — требовалось, чтобы тебя вообще пустили в вагон, еще и особое разрешение на поездку. Она сразу очутилась в совсем ином мире. В Батуми, разумеется, гораздо больше чувствовалась война. Санитарные поезда въезжали в самый центр города и останавливались прямо против ворот лазарета. На тротуаре громоздились штабелями залитые кровью носилки. На крыше поч-

тамта высился зенитный пулемет, обложенный мешками с песком. Пулеметчики в блестящих касках сидели на крыше, свесив ноги на улицу, и оттуда заигрывали с идущими мимо девушками. Кажется, и к тете они попытались прицепиться, — догадались сразу о ее простоте — крикнули: «Смотри, о спичку не споткнись», или какую-то похожую глупость, а тетя, вся напряженная, натянутая, чуть ли не бежала по улице и никак не могла выбраться из-под мрачной тени аэростата, застывшего, как какое-то летающее чудовище, над городом. И все же она исполнила свое давнее желание и, прежде чем явиться к сестре, посмотрела на море вблизи, с самого берега. Но море и с близкого расстояния показалось ей таким же бесцветным, никчемным, бессмысленным, как и из окна вагона — коричневатозеленоватая пена пузырилась вдоль полосы прибоя, словно пучась жабьими глазами. Море не волновалось, а как-то раскачивалось, кидалось из стороны в сторону, как вода после мытья в большом тазу. Волновалось — и не волновалось; и море словно смила, и его подавила война, — и ему словно до смерти надоело вздымать волны, но из страха перед кем-то, кому-то напоказ, оно все же старалось, трудилось, делало вид, что волнуется. Бессмысленными и жадными глазами дрессированного тюленя глянуло оно снизу, опершись грязными лапами на мокрый песок. Пустой берег являл в свою очередь неприятное зрелище — он был словно перерыт рылами целого стада свиней. На песке, перемешанном с мусором, кто-то оставил огромные, глубокие следы — казалось, тут прошел какой-то великан, Голиаф, и удалился, исчез, забросил здешние места. Разочарованная, вернулась с берега тетя и до самого отъезда ни разу и не заговаривала о море. Лишь в поезде сказала она Нико, что совсем иным представляла его себе. Сказала вскользь, и как бы между прочим, среди разговора о чем-то другом, и лишь на мгновение взгляд ее стал недвижимым, словно она еще раз сравнивала в уме то, что видела, с тем, что воображала. А может быть, как обычно, засомневалась — уж не оставил ли те следы на пустынном берегу Сосо. Она ведь всюду ищет след,

оставленный Сосо, и ни за что не хочет поверить, что Сосо уже нет на свете — если он, конечно, когда-нибудь существовал. Но больше всего она очаровала — и удивила — Нико тем, что сразу сказала: «Если хочешь выкурить папиросу — кури», как только поезд тронулся, и мама, шедшая вровень с вагоном, понемногу отстала и затерялась в убегавшем назад пространстве. Нико, однако, удержался, постеснялся все же тети, и всю дорогу до Тбилиси, а потом от Тбилиси до Цнори, курил только в вагонном туалете, высунувшись из открытого окна, оглушенный свистом раздираемого поездом воздуха, ослепленный слезами одиночества и заброшенности, безмерно опечаленный, тоскующий, как пойманный, плененный звереныш, который чувствует, что его отрывают навсегда от любимого, необходимого ему мира, от родной среды, но ничем не может помочь беде (потому что он еще щенок) и никому не может пожаловаться, излить свое горе.

А поезд летел вперед. Поезд мчался, и Нико вспоминал свою прежнюю счастливую жизнь, довоенное время, когда мама, а иногда мама и папа вместе, возили его в Сигнахи — не для спасения, как сейчас, а для отдыха, для перемены воздуха, для развлечения и игр; к дедушке и бабушке, не насовсем, а лишь на одно лето. И тогда, как теперь, надо было пересаживаться с одного поезда на другой, и пересадка была, как и теперь, в Тбилиси, потому что, как говорит Ваню-учитель, все дороги проходят через столицу, влекущую к себе всех, хотя бы они того или нет, с огромной притягательной силой, губительной не только для притягаемых, но в первую очередь для центра притяжения. Но Нико, если он ехал только с матерью, надоедало торчанье на тбилисском вокзале в ожидании пересадки. Особенно, разумеется, ненавидел он комнату матери и ребенка. Между тем, если ехали без папы, видимо, нельзя было избежать ожидания в этом помещении. Именно этого пуще всего боялся Нико, так как стоило им войти туда, как Нико тотчас начинала мучить жажда; а сверх того терзал страх, как бы не сделать что-нибудь недозволен-

ное, не нарушить какой-нибудь запрет, как будто все, что находилось в комнате матери и ребенка, было выставлено для осмотра, а не для пользования. А мать только и знала, что стращать его: не трогай ничего, не опирайся локтями, сиди здесь, на месте, что ты раззевался... В дверях сидела всегда одна и та же красноносая женщина, как бы чучело женщины, и как будто читала книгу, но стоило им пошевелиться, как тотчас поднимала голову и впибалась в них водянистым взглядом. Нико подмывало сказать матери или хоть знаком показать ей, что вот эта тетя за ними подглядывает, но он нарочно ничего не говорил, так его сердила недогадливость матери. «Что ты ерзаешь? Если жмут башмаки, сними. Вот так. Или, может, тебе хочется кое-куда? Ты ведь сегодня еще не просился?» А красноносая женщина в дверях переворачивает страницу — делает вид, что читает! — и поглядывает на них: чего эти, там, шепчутся? «Ничего мне не нужно, оставь меня в покое», — ссорился Нико с матерью. И тогда, в те лучшие для обоих времена. Но и в этой мучительной комнате можно было, если захотеть, найти развлечение. Можно было увидеть через забранное решеткой окошко разные вещи — увидеть и запомнить — например, очень длинную белую кирпичную стену, красные трамваи, что мчались по узкой, забитой людьми улице, рассыпая искры, с непрерывным звоном, словно кем-то рассерженные, черные, блестящие фаэтоны, ряды чистильщиков обуви вдоль тротуара... Девочка возраста Нико несла наполненную водой, раздувшуюся резиновую перчатку, похожую на коровье вымя — перчатка протекала, следом за девочкой по асфальту тянулся извилистый мокрый след. Мохнатая, едва заметная среди своей шерсти, до смешного маленькая собачка отчаянно лаяла с балкона на прохожих — ну, конечно, она была у себя дома, никого и ничего не боялась. Но все-таки главное, что запомнилось Нико с тех пор — это невыносимая жара и неутолимая жажда, наверно, потому что проезжать через Тбилиси приходилось всегда в разгар лета. Зато когда у папы было время и он ехал вместе с ним и с мамой, эти не-




сколько часов от поезда до поезда пролетали совершенно незаметно. Сначала непременно полагалось пообедать в ресторане, а за обедом обязательно следовала поездка по городу на фаэтоне. Нико стоял на ногах между коленями отца и с лихорадочным нетерпением дожидался — когда же покажется знакомая витрина, в которой, как ему помнилось, смешная маленькая обезьянка, присев перед огромным башмаком, будто бы наводила на него блеск щеткой, зажатой в обеих руках. На самом же деле она пристально, не моргая, глядела на улицу, словно и сама так же нетерпеливо дожидалась появления Нико. «Ну, что — свиделся со старым приятелем?» — со смехом спрашивал папа. А Нико почему-то удивительно умилялся, глядя на эту глупую обезьянку, ему трудно было говорить, к горлу подступал комок, наворачивались слезы. А почему? Он и сейчас не мог бы сказать. Что было такого жалостного и умильного в набитой опилками кукле? Ведь ни души в ней, ни разума. А фаэтон неспешно катился по самым прекрасным улицам Тбилиси. Путешествие с папой, конечно, имело совсем иную прелесть, совсем иной блеск — все опасное оказывалось не таким опасным, все приятное, увлекательное, интересное становилось еще интересней. Папа сходил на каждой станции и возвращался в купе лишь тогда, когда поезд трогался, а маму охватывало беспокойство. Мама ворчала, папа смеялся, Нико высывался из окна и был счастлив, а поезд мчался, оглушая гудками покрытые дремучими лесами синие горы. Вот на берегу реки — только что вытащенный утопленник, валяется, уткнувшись лицом в грязь. Какой-то человек стоит на валуне у реки и, слегка пригнувшись, выжимает мокрые штаны. Вот он повернулся лицом к поезду и взмахнул выжатыми штанами над головой. Другие смотрели на валявшегося ничком утопленника и, должно быть, совещались, как быть, что теперь им делать. Никому не рассказал Нико о том, что случайно увидел из вагонного окна. Ветер развеивал в купе белые занавески. Все было белоснежное: и накрахмаленные занавески, и платье мамы, и папин ко-

стюм. А вот в поездах военных лет люди буквально сидели друг на друге, покрытые грязью, дочерна, были отвратительны друг другу, ненавидели друг друга, каждый видел в другом смертельного врага — и любой при случае, не задумываясь, убил бы любого во всех отношениях подобного ему, такого же несчастного, измученного, забитого бедой и нуждой, потерявшего человеческий облик попутчика. «Давай, уйди с дороги, не видишь — я слепой!» — «Ежели ты слепой, так торчи дома, чего тебе не сидится?» — «А если я буду дома сидеть, семью мою ты что ли прокормишь?» — «Смотрите, у него и семья есть — не такой уж слепой, каким прикидывается». — «Уж наверно, притворяется перед нами, чтобы нас растрогать». — «Как же, бабушке своей рассказывай! Ежели ты слепой, так и мы все слепые, не хуже тебя». А поезд мчался, и в убегающем назад пространстве, как в сером песчаном море, тонуло, исчезало, затерявшись навсегда, все то, чем жил до сих пор Нико, что, попросту, называлось его жизнью, то есть родители, товарищи, двоюродные сестры, море, Еленица — его первая любовь, невысказанная и неугасимая, как душа самой природы, легкая и прозрачная, как белое платье самой Еленицы, украшенное пышными кисейными бантами и отдающее запахом жареной рыбы...

Когда Нико вышел из туалета, слепец сидел в тамбуре на мешках и ел хлеб с луком. Темные очки, поднятые на лоб, делали его почему-то похожим на сбитого и взятого в плен летчика, а не слепца.

«Еленица, Еленица, я похоронил в прошлом с тобой все мое небывшее счастье», — не раскрывая рта взывает Нико к брезжущему в сером тумане лицу, привычно растерянному и удивленному, — но уже отсюда, из Сигнахи, со своей постели, на которой лежит пластом, как мертвый, со сложенными вместе руками и в довершение всего заляпанный пометом летучих мышей. У него нет даже сил отогнать эти нахальные создания или хотя бы огереть запачканное лицо. Мертвец, как есть мертвец. Ни рукой пошевелить, ни слово вымолвить. Ему кажется, что он только что вернулся откуда-то издалека, из спаснейшего путешествия

— кажется, ехал и автобусом — обессиленный <sup>и</sup> бессмысленным и бесцельным стремлением и столь же бессмысленным, неопределенным страхом. Не знает, откуда берется все то, что он чувствует, и насколько можно верить этим своим чувствам. Что ж, ничего больше не остается, надо ждать и надеяться, что эти темные, тягостные чувства скоро покинут его. Надежда — это большая сила. Недаром желают друг другу: «Пусть не отнимет у тебя Бог надежду»; но для того, чтобы надеяться, надо верить, что можно что-то изменить, и сверх того, надо иметь охоту, желание и, разумеется, способность к этому. А значит, вот, самое меньшее, три условия для надежды: вера, желание и способность. А он лежит, сложив руки на груди, и над ним с писком носятся летучие мыши. Впрочем, несмотря на скрещенные руки, сна — ни в одном глазу. По благомысленному убеждению доктора, сон должен освежить его, восстановить его силы — но не было дано ему уснуть, не удостоился он сна! Никак не смог проникнуть в его заколдованное царство, вернее, сам доктор не впустил его туда — так долго скрипел стулом и так расхваливал эту «малую смерть», победительницу большой, настоящей смерти, что, кажется, навсегда отпугнул ангелов сна от изголовья Нико. Но и это — еще одно доказательство, что не осталось у него ничего от детства, кроме обломка оков. Дети спят глубоким сном, а он лежит с раскрытыми глазами, как заяц. С раскрытыми глазами и скрещенными руками, обгаженный летучими мышами. И руки сами собой складываются на груди. Он дошел до точки, он больше не может — все следит за своими руками, подглядывает, как дежурная в комнате матери и ребенка за оставшимися с ней наедине женщиной и ее сыном. А бродячий уличный пес лает, лает отчаянно, не переставая. Всю ночь он не умолкал ни на минуту — общий и ничей. Охраняет по очереди все дворы. Никто ему не поручал, не давал такого задания, он сам взял на себя этот труд, проявил столько чуткости, столько преданности, и все же не смог завоевать сердце человека. Раз он принадлежит всем, то никто его не приемлет. Как только увидят его, хватаются за камень: «Ах ты, негодник, пошел вон, чтоб тебе пусто было!» Интересно, чей двор он караулит нынешней ночью? Никак не



может Нико это определить: ветер мешает, ветер меняет направление, откуда доносится собачий лай. А по правде сказать, если кто нуждается в охране и защите, так это Нико. Как знать, может быть, Гогия и в этот поздний час кружит около их дома и думает, как бы добраться до Нико, как бы расправиться со свидетелем своего злодеяния. А Нико, хоть и не мертв, но ничем не лучше мертвеца: не сможет ни отбиться, ни даже словом дать достойный ответ. От лихорадки во рту у него сухо, как в пустыне. Не сухо, а сссухххх. Горло у него словно заросло колючим кустарником. Под кустами носится вприпрыжку птаха как угорелая. Что-то тревожит ее, она отчаянно щебечет над чем-то на земле, взволнованная, испуганная, расстроенная. «В чем дело, птичка?» — спрашивает, умоляет ее, ссорится с ней Нико — разумеется, по-прежнему не раскрывая рта. Видимо, не у одного Нико скребет на душе от этого писка и щебета: в шкафу звенят бутылки. «Не там ищешь, мама, у самой дверцы стоят», — шепчет тетя. «Сама не знаю, где ищущу, дурная моя голова», — так же шепотом отвечает бабушка. Боятся разбудить Нико, думают, что он спит. А птичка щебечет все отчаяннее, что-то на земле ее тревожит. Любопытно, право, что же так ее испугало, отчего так иступленно и беспрестанно, так нескончаемо, так безнадежно щебечет, задыхаясь, эта крохотная птаха? Заметила ли подбирающуюся змею, выпал ли из гнезда птенец, или пойманного с трудом жучка выронила из клюва — и голосит, чирикает, носится вверх-вниз, с куста на куст, с одной колючей ветки на другую. Нико больше не может слышать писка и чириканья птахи. Если он еще не мертв — разве смерть не лучше такой жизни? Что лучше, в конце концов, ответьте ему, разъясните раз и навсегда — что лучше, смерть или жизнь? Разная бывает смерть и разная жизнь, ответите вы, но когда человек не знает даже, перед кем и в чем ему надо оправдываться, разумеется, смерть предпочтительнее. В конце концов, что такое смерть? Ничто. Одна нескончаемая ночь, вечный мрак, — насыщенный запахами спирта и уксуса, наполненный тенями близких и родных — в общем, бесконечное ничто. Страна мрака. В стране душ есть замок судей, а в замке сидят судьи в камен-

ных креслах за каменным столом; в каменных подсвечниках горят перед ними восковые свечи; в руках у них ножницы для стрижки овец — у доносчиков они отрезают язык, у воров и убийц — руку; отрежут, сварят и дадут самому съесть. Худо придется Нико, если он и тут не сумеет доказать свою невиновность. Потому он и лежит сейчас так, со скрещенными руками, как мертвец, напряженно вслушиваясь и всматриваясь во тьму. А над головой у него летают летучие мыши, лемуры, быть может, давно отошедших времен. Одна из них пищит прямо у него над ухом, в крыльях у нее продеты словно острые железные вязальные спицы, и всякий раз, взмахивая крылом, она больно царапает ему щеку — ту самую, которую он ободрал об унизанную шипами ветку давеча, когда бежал со всех ног, не разбирая дороги, сквозь колючий кустарник от нацеленного ружья. Но разве кому-нибудь, когда-нибудь удавалось убежать от судьбы? И вот он лежит пластом, как мертвец, обгаженный летучими мышами, и думает: это я сам был тот разбойник, которого убили у меня на глазах сегодня возле старой церкви. То ли мысли о смерти заставляют его сложить руки на груди, то ли он думает о смерти оттого, что лежит со скрещенными руками. Впрочем, когда-то он и сам был в течение двух дней разбойником, и если бы его не схватили вовремя опричники Евгении Дугладзе, вполне могло случиться, что он и был бы убит сегодня. Так что не так уж необоснованны его нынешние мысли. К тому же ему как-то приятно думать о том, о чем он думает: ночь, он один, все спят (или притворяются, что спят), а на дворе завывает ветер, сотрясает землю. Что сейчас может быть лучше смерти! Мертвый неприкосновенен. Перед мертвыми склоняются все, как друзья, так и враги, потому что он умер за всех, вместо всех. Между прочим, думать о смерти он также научился в ту пору, во время своего двухдневного разбойничьего житья, когда он жался, как жаба, в тесной щели пещеры; тогда-то он и открыл, что смерть — это своеобразный выход из любого неприятного и нежелательного положения, ибо если есть у человека что-нибудь свое, собственное и неотъемлемое, так это — жизнь, и он волен сделать что хочет со своей собственностью, как угодно ею распорядить-

ся; более того, захочет — использует ее, а не захочет — не использует; сложит руки как сейчас, и будет думать, о чем хочет, представлять себе все, что хочет, по-всякому. А ведь представлять себе добровольно, без всякого принуждения, переживать заново то, что однажды пережито и перечувствовано, это не просто прекрасное развлечение, но и своего рода упражнение, воспитание души и разума, поскольку после каждого представления-переживания, каким бы оно ни было тяжелым и мучительным, представляющий становится хоть немного лучше, чем был до сих пор, хотя бы по той простой причине, что смотрит на себя со стороны и поневоле оказывается судьей над самим собой.

Впрочем, сегодняшней или вернее, вчерашней день (сейчас, наверно, уже миновала полночь) если не зачеркнул целиком, если не исчерпал полностью жизнь этого неоперившегося юнца, то явно круто изменил ее направление, заставил ее проложить себе другое русло, как неожиданно возникшая преграда, плотина, стена или попросту обыкновенный камень, валун изменили бы направление текущей воды. Вот почему он предпочел смерть, хотя бы притворную. Нечто существующему, небывшему не сделаешь упрека и не выскажешь благодарности. Отсюда и его насмешка над собой: «Здесь покоится поэт грядущего, который еще не родился». Как же покоится, если не родился — спросит, наверно, кто-нибудь — и в этом-то все дело: пусть ломает себе голову потомство. А с него довольно и того, что он застрял в колючем кустарнике, сидит до сих пор, как заяц, затаившись внутри куста... Потому что он скакнул в кусты раньше, чем подумал, что надо как-нибудь предостеречь скрывавшегося в развалинах старой церкви человека. А подумал он об этом, когда уже сам спрятался в кустах. Зато он никогда уже больше не выйдет оттуда. Куда бы он ни поехал — даже если его вернут в его любимый, желанный Батуми, — он все равно останется затерянным среди этих колючих зарослей, потому что там — его Крцаниси, и будет вечно глядеть оттуда, как перепуганный заяц, не сводя взора, на отрезки пропыленной дороги, на покрытые редким черным мелкоколесьем склоны, на размытые потоками кручи, на приютившийся, словно каменное гнездо, на верхушке горы го-

род, откуда обвалом, обломками обрушившихся скал/ стремится к нему его доля. Раскрыта книга судеб, писатель судьбы держит наготове обмакнутое в чело- веческие слезы и кровь перо и вот-вот напишет против его имени четким, красивым почерком: пустышка и останется пустышкой до конца. Однако несколько лет тому назад, еще в Батуми, в лучшие времена, до войны, цыганка с открытой грудью пророчила его матери совсем иное — что из сына ее выйдет великий человек. Пусть у вас до тех пор ничего не заболит! Скорее осел влезет на дерево. Кто это сказал, кто придумал такую заведомую чепуху — ему самому смешно, он смеется над своим самым сладостным воспоминанием. Кто придумал... да гадалка, как мы уже говорили, цыганка с обнаженной грудью, которой наплевать и на мать, и на сына, которая говорит то, что приятно и матери, и сыну, раз ей за это охотно платят деньги. Велик ли грех? Этим она кормится. Людская наивность дает ей хлеб насущный. А наивных, простодушных всегда будет много на земле, да и какая мать не поверит доброму слову о своем ребенке? (Трудно и горько, если скажут дурное о твоём ребенке. И тогда можно заехать смаху рукой в перстнях прямо по губам). Какой ребенок не раскачивался никогда или откажется хоть недолго покачаться на качелях приятной лжи, лестного обмана, подвешенных цыганкой-гадалкой к ветке смоковницы за деньги, которыми оплачен этот самый обман? Платят ведь ей за ложь — вот она и лжет. «Прочти стишок» — разве не то же самое? Любишь конфеты и потому читаешь стихи. А цыганка любит деньги, нужны ей деньги, своего детеныша надо ей вырастить, а на чужих, таких как Нико, ей наплевать. Собственно, даже и не наплевать, просто, кому что требуется, то она каждому и дает: Нико и таким как Нико — качели обмана, чтобы они потешились бессмысленной, бесцельной качкой, а своему детенышу — голую грудь и незрелую ягоду инжира, чтобы он сызмала привык различать горькое и сладкое. Одних воспитывают обманом, других — на деньги, полученные за обман. Но каким бы способом ни были добыты деньги, разумеется, воспитанный на них всегда будет впереди того, кто воспитан ложью, он успеет уже прожить целую

жизнь, отведавать плоды всех деревьев, прежде чем тот, воспитанник лжи, слезет с качелей, оправится от головокружения и тошноты и скажет со стыдом и горечью: «зачем я жил», или — «как долго я спал», как говорят воскресшие герои в сказках, не потому, что когда-то можно было воскресить мертвого, а для того, чтобы такие, как Нико, могли спокойно спать, уткнувшись головой в мягкую подушку обманчивой надежды. И мама считает, что так лучше. Таков ее выбор. Сиди тут, сыночек, в клетке одиночества, знаешь, какая это крепкая клетка? Выдержит хоть землетрясение. Вот, я пролью для тебя каплю-другую любви: слизывай и жди меня, слизывай и жди. А сама ушла к тому, кто ей дороже и сына и самой себя. Ну, хорошо, но ведь должна же была она знать... Впрочем, что пользы сейчас об этом, поздно уже, судьба спешит, надвигается, да нет, она уже тут, уже сказала свое слово, а если спросить Нико, так детство вообще не должно существовать — это время, этот период, этот возраст, именуемый детством; и право же, разве не лучше было бы для самого Нико, если бы вообще никогда не было тех, населенных кокетливыми лилипутами и напудренными великанами, нескольких лет, что оказались лишь приманкой, брошенной на пороге нерушимой клетки жизни, приманкой, которую обманутый голодный зверь проглатывает в одно мгновение и, облизываясь, хоть и с пустым еще желудком, с удовольствием входит в капкан, который называется жизнью, и из которого он уже никогда не выйдет на волю — живым, разумеется, а мертвым его там никто не оставит: выволокут, раскачают в воздухе и — айда, перевесят поперек седла на спине старой кобылы. Лишь на мгновение испугается кобыла, нет, не то что испугается, а просто у нее подогнутся задние ноги от слабости, лишь на мгновение, и — конец всей истории... Так что, будь на то воля Нико, он вовсе бы не родился, раз ему предстояло жить не так, как он хотел. Но теперь уже нет смысла мучить себя такими мыслями и изводиться, дороги назад не существует, чему быть, того не миновать, да неминуемое и происходит, только не единожды, как то задумано и решено судьбой, а многократно, бесчисленно повторяясь, вернее даже, непрерывно, с тех пор, как он остался



один в этой тёмной комнате. Но чем чаще повторяется задуманное провидением, чем лучше осмысливает, осваивает Нико то, что перенесено им однажды, тем тверже убеждается он, что все происходящее не случайно — или что случайно происходит именно то, что в конечном счете оказывается главным и решающим. Если бы не нынешний, или вернее, вчерашний день, жизнь Нико пошла бы совсем по иному (и наверно лучшему) пути, и из Нико получился бы совсем иной (наверно лучший) человек. Все зависит от случая, так что, быть может, ему удалось бы оправдать надежды своей матери, осуществить ее мечту — повторим: если ему вообще суждено спастись, если весь его жизненный путь не окажется в конце концов сновидением, в котором ищут то, чего никогда не теряли, чем никогда и не обладали, и утрату чего — если бы обладали им — оплакивали бы больше, чем любую иную потерю. Но это запоздалое сожаление (лучше сожаление вначале — учит нас поэт) рождает и другие, более сложные и странные чувства в обманутом разочарованном человеке — например, жалость к самому себе, а это столь сильное и, по-видимому, столь нужное чувство вообще для человека, что благодаря ему представляешь себе не совсем уж, не окончательно погибшим, мало того, глаза твои даже увлажняются слезами сочувствия, но только слезы, тем более запоздалые (как и сожаление), ничего уже не могут изменить — и все, на этот раз уже в твоём представлении, Бог знает, в который раз, с первоначальной яркостью и силой повторяется сначала...

**Продолжение следует**

**Перевод Элисбара АНАНИАШВИЛИ**



\* \* \*

Дудя в рожок, весна нагрянет в гости  
С росой зари — слезою материнской,  
С зеленой почки неразжатой горстью,  
С мельканьем ласточек, одетых, как хористки.  
Дудя в рожок, весна нагрянет в гости...

С ней — несравненность розы Ортачала<sup>1</sup>,  
Стиха Саят-Нова в ней волхованье,  
В ней песни Гоглы<sup>2</sup> бурное начало  
И в ней одишский<sup>3</sup> пламень Чиковани.  
Весна нагрянет, на рожке играя...

Она жезлом царевича одарит,  
Мелодию направит в Ламискана<sup>4</sup>.  
А мне на подержанье лиру дали.  
Где, грешный, с нею я скрываться стану?  
Весна нагрянет, на рожке играя!

## Лане

...И о красоте твоей  
город начнет говорить,  
и, перебирая красивыми ножками лани,  
ты по-королевски  
привыкнешь улыбки дарить,  
и в брачную ночь  
расцветет в тебе роза желанья.  
А я одиночества желчью  
себя истомлю,

---

<sup>1</sup> Ортачала — район в Тбилиси, славившийся некогда садами.

<sup>2</sup> Гогла — Георгий Леонидзе.

<sup>3</sup> Одиши — Мегрелия.

<sup>4</sup> Ламискана — село в Грузии, где родился Давид Гурамишвили.

но каждый твой шаг для меня —  
как надежды зарница.  
Из чаши с напитком кровавым  
опять пригублю,  
и солнце по сердцу  
прокатится, как колесница.  
Вновь память о детстве болит,  
и лежу я без сна.  
Тебя же кружит  
в упоительном танце весна.  
Живи, голубица моя,  
как источник, журчи.  
Меня позабудут —  
из гроба кричи — не кричи...  
И я для одной лишь тебя  
о земном хлопочу!  
Мне лавров поэта и почестей  
вовсе не надо.  
И, может быть, я  
потому ничего не хочу,  
что Грузии небо  
с рожденья дано мне в награду.

## Старая лазская легенда

В иконное Воскресенье<sup>1</sup>,  
Бедняге Тимуру Кару,  
Бедняге Тимуру Кару  
Кто даст от греха спасенье?!

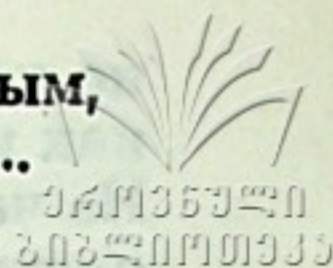
Ломоть луны виден отсель,  
И дождь уняться не хочет.  
Мать женщины стелет постель,  
Отец ее ножик точит.

Конь мой бел, как сыр в молоке.  
Пастись приведен во двор он.  
А липы стоят вдалеке,  
В них коршун живет и ворон.

---

<sup>1</sup> Иконное Воскресенье — местный праздник.

Я — махви<sup>1</sup> башням подзорным,  
А число этим башням — семь...  
Вином меня поят черным,  
Чтоб в небо услать насовсем.



Тело мое ошкурено,  
Лежу я в крови и в сраме...  
Предали меня шурины,  
Из Чхари ушли в Сурами.

И сестры в одеждах черных  
Мимо духана проходят.  
Я — махви башен подзорных,  
Народ мой меня проводит.

Не струите, сестры, прошу,  
На грудь мою слезной реки.  
А жена целует пашу,  
Как клубника, ее соски.

О, когда бы не таковой  
Был удел уготован мне,  
По стезе своей роковой  
Я скакал бы на белом коне.

## Розовый мадригал

По виноградю, по полям,  
По взгорьям, вновь и вновь  
Я вот уже десяток лет  
Ищу тебя, любовь.

Подманиваю я тебя,  
Настроив свой манок,  
Все так же я голубоглаз,  
Как мальчик-стригунок.

Ты мне давно дала пинка,  
Поймав за воротник,  
И я по улице летел,  
Как камешек в родник.

---

<sup>1</sup> Махви — предводитель, начальник.

Я в придорожной мураве  
Валялся день иль год,  
А после в город я вступил,  
Смешной, как Дон Кихот.

С ромашкой, розой и со псом  
На длинном поводке  
Без отдыха искал тебя  
Вблизи и вдалеке.

По виноградыю, по полям,  
По взгорьям, вновь и вновь  
Я вот уже десяток лет  
Зову тебя, любовь!

## Абхазия

Вползает солнце с края  
На горку Шервашидзе.  
Что нет другого рая,  
Я мог бы побожиться.

А облако плываает,  
Как тот ковер летучий.  
А неба не бывает  
Ни розовой, ни лучше.

И движется триада  
На колеснице с моря.  
Бессмертье — здесь. Не надо  
Со мной об этом спорить.

Лучи сойдутся вместе,  
Как бы уток с основой.  
Не знают в мире песни  
Такой, даю я слово.

В печали — не в обиде —  
Душа поплачет дольше.  
Такой красы не видел  
Нигде на свете больше.

Перевод Марины КУДИМОВОЙ



# СКАЗКА О КРАСОТЕ

## ПОВЕСТЬ

**Н**е осуди жестоко итог помыслов моих — Красоту, изображенную мною такой, как я ее увидел. Гордая, суровая, преходящая и вечная, она есть святилище мастеров и рыцарей. И земных радостей она не чурается, тем самым, вольно или невольно, причиняя нам боль. Прими ее. Прими ее — непостижимую и ослепительную, и припади к серебристому ручью моего повествования.

Знаю, он не утолит твоей жажды, но, быть может, крошечная почка непознанного, к которому мы вечно стремимся, распухнет в тебе и хотя бы на миг осветит самые потаенные уголки души. Открой Красоте свое сердце и рассуди сам, в чем смысл и урок этой сказки.

Начну с радостных событий.

В ту пору мне было восемнадцать лет. Я только окончил школу, поступил в медицинский институт и частенько коротал время у своего сокурсника Темура Г-ли, вместе с которым мы занимались.

Поднимаясь к нему на третий этаж, я нередко встречал живущую на той же лестничной площадке высокую красивую женщину, которая всегда приветливо улыбалась мне. Сдав экзамены за первый курс, мы с Темуром решили было отправиться в горы, но его родители получили визу от своего знакомого из Чехословакии, и они всей семьей поехали в Прагу. Перед отъездом Темур оставил мне ключи от квартиры, — может, пригодятся!

А у нас в доме как раз начался ремонт, и я предпочел пожить это время в трехкомнатной квартире Темура.

Как-то вечером я, свесившись с подоконника, смотрел на улицу. Стояла жара. Я увидел, как открылось соседнее окно и показалась та самая женщина, которая поразила меня. Темур, помнится, говорил, что она искусствовед и преподает в театральном институте.

Прежде всего мы улыбнулись друг другу. Она улыбалась как-то необычно, загадочно, губы улыбались, а глаза внимательно наблюдали за тобой.

— Как жарко! — сказала она.

— Вы не собираетесь в отпуск, калбатано Нино? — спросил я (забыл сказать, что звали ее Нино).

— Пока что нет, — вздохнула она, — экзамены.

Наступила недолгая пауза.

— И читать нечего, — произнесла она.

Я оживился.

— А какая литература вас интересует?

— Всякая. Лишь бы время убить. А лучше всего послушать перед сном музыку. — Она помолчала и неожиданно спросила: — Любите музыку?

— Разумеется... У вас, наверное, хорошие пластинки?

— Как сказать... Хотя у меня и в самом деле хорошие пластинки с классикой. Хотите, послушаем вместе?

Я кивнул. Через минуту я уже стоял перед ее дверью.

Квартира была четырехкомнатная, просторная и хорошо обставленная.

Нино поставила пластинку. Это была «Героическая симфония» Бетховена. Мне, признаться, стало как-то неуютно. Чтобы слушать Бетховена, нужен особый настрой. Тем более «Героическую симфонию».

Нино, судя по всему, заметила это и опустила звук.

— А что бы вы хотели послушать?

— Не знаю... Может быть, Шопена...

— Шопен... Шопен... — Она подошла к проигрывателю и сменила пластинку.

Я перевел взгляд на огромную картину, висящую на противоположной стене. Это был лесной пейзаж. На переднем плане — огромный вековой дуб с обнаженными корнями. Казалось, среди корней кто-то прячется. Короче, это был мрачный, суровый пейзаж, словно

свидетельствовавший о вырождении хорошего и добро-го.

— Иди сюда... — откуда-то издалека донесся го-лос Нино. Я приблизился и сел рядом.

Она, не открывая глаз, коснулась моей руки.

Я вздрогнул... Рука была ледяная. Она встала, загадочно улыбнулась.

Я тоже встал, подошел и обнял ее. Удивленно взглянув на меня, она всерьез улыбнулась.

— Это у тебя вышло по-мужски.

— Что?

— Вот это... Как ты встал... обнял...

Я рассердился, схватил ее за халат и попытался снять его.

Она оставалась холодна как камень, словно не понимала, что происходит. Я дрожал.

— Не сегодня, — произнесла она спокойно и выскользнула из моих рук.

Я снова потянулся к ней.

— Я ведь сказала, не сегодня, — сурово повторила она. Потом снова улыбнулась. — Завтра жду тебя в это время.

Голос был странный, повелительный. И я покорился.

Всю ночь я ворочался в постели. Просыпался и вновь засыпал. Наконец, едва рассвело, встал, взглянул на часы. Было шесть часов. Я подошел к окну, облокотился о подоконник и закурил. Ставни на окнах Нино были открыты, и из окон просачивался какой-то странный прозрачный дымок.

«Что это может быть?» — подумал я тревожно и пристально всмотрелся. Но так ничего и не поняв, швырнул сигарету в окно, вернулся в комнату и лег на диван. Полежал немного, потом встал, пошел в ванную, побрился, умылся, оделся и вышел из дому.

Улица была безлюдна. Но тут я увидел, что вслед за мной из дома вышел высокий, довольно симпатичный мужчина средних лет в черном костюме и шляпе. На бабочке я заметил булавку с жемчугом. Мужчина взглянул на меня, чуть заметно улыбнулся, потом степенно кивнул головой и, хромя, продолжил путь.

Я удивился... Прежде я не встречал его здесь.



Дома я поспешно лег в кровать. Родители и брат с сестрой еще спали. Вскоре и я уснул. Когда проснулся, было уже двенадцать часов. В квартире — никого. Стоял запах красок, на полу валялся мусор. Мебель и рояль уже перенесли в отремонтированную комнату, в моей пока не приступали к ремонту. Я встал, сел за стол. Я не сказал, что давно пишу стихи... И не столь уж плохие. В одной из редакций мне даже пообещали опубликовать подборку. Но сам я понимал, что до подлинной поэзии мне еще далеко.

Я сидел и писал. Писал долго. Тишину нарушил телефонный звонок.

— Слушаю...

— Привет, гомо! — раздался в трубке басовитый, чуть приглушенный голос.

— Что-то не узнаю... — растерялся я.

В ответ послышался смешок.

— Говори, кто ты, иначе повешу трубку!

— Так ты сегодня идешь к Нино?

Я оторопел.

— Тебе это сказала Нино? — спросил, помедлив.

— Хм, о таких вещах женщины никому ничего не говорят. Тем паче такие женщины, как Нино.

— Пошел ты к черту, — разозлился я. — Мне все равно, сказала она или нет. Чего тебе от меня надо?

— Ты что, не понял меня? Не говорила она мне ничего.

— Откуда же ты знаешь? И в конце концов кто ты?

— Доброжелатель...

— И чего тебе надо, доброжелатель?

— Хочу предупредить: не ходи сегодня к Нино.

— Почему?

— Этого я тебе не скажу, но если ты ослушаешься, пеняй на себя.

Послышались короткие гудки.

Я положил трубку и в недоумении уставился в пол.

Звонок вывел меня из равновесия. Пришли с работы родители и сестра, а старший брат позвонил и предупредил, что опоздает. Сестра старше меня на пять лет. В прошлом году она поступила в аспирантуру при

кафедре грузинской литературы. Брат старше на десять лет. Он пошел по стопам матери, окончил Академию художеств и работает в театре художником-декоратором. Отец инженер, один-единственный в семье человек с прозаической профессией.

Вот краткая характеристика членов моей семьи. Сестра не замужем, брат не женат, но никто из них не торопится обзавестись семьей.

Мама позвала к обеду. Мы молча сели за стол. Наконец отец поднял голову и спросил:

— Ты чего вырядился?

— Ухожу, — ответил я.

— Когда вернешься?

— Останусь ночевать у Темура.

— Почему? Что у тебя своего дома нет? — встала мама.

— А чего мне дышать этой пылью, когда я могу пожить у Темо.

— Во-первых, где ты видишь пыль, — разозлилась мама. — И потом, по-твоему, не надо было затевать ремонт?

— Что вы все ко мне пристали, — возмутился я. — Ведь уже договорились, что до поездки на море буду жить у Темура.

— Что тебе надо там, не пойму!? — сказала мама.

— Черт с тобой... Поступай как хочешь. Но хотя бы звони, — примирительным тоном произнес отец.

Я нажал на кнопку звонка.

Дверь открыла Нино. Она была в халате.

Некоторое время мы стояли молча.

Но вот она взяла меня за руку — и я переступил через порог.

— Ты никого не встретил на лестнице? — поинтересовалась она.

Я покачал головой, садясь в кресло.

Она пристально посмотрела на меня, потом подошла и села мне на колени.

— Стало быть, я тебе нравлюсь, малыш?

— Очень... — сказал я, несколько обескураженный. Нино жадно припала к моим губам.



Рассвело.

Нино открыла глаза.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.

Я пожал плечами.

— Значит, хорошо, — сказала она. — Какая сумасшедшая была ночь, верно?

— Да...

— Такие ночи не повторяются, — проговорила она задумчиво.

Я молчал.

— Встанем? — Нино привстала, но тут же как подкошенная упала на постель. — Хотя сегодня я могу не пойти на работу...

Чуть погодя мы все-таки встали, Нино вспомнила, что у нее какие-то дела и ей все равно надо выходить из дома.

Мы договорились встретиться вечером.

Я сидел за столом в квартире Темура и писал, когда зазвонил телефон.

— Да...

— Привет, гомо! — послышался голос в трубке.

— А, это ты? — постарался я произнести как можно беззаботнее.

— Ты не ошибся, пройда... Так ты все-таки пошел?

— Да...

— Ослушался меня, мыслитель? Кстати, написал что-нибудь новенькое?

— Ты многое обо мне знаешь. Все же кто ты?

— Знаю, говоришь? — послышался насмешливый голос. — Да, в самом деле, знаю... И питаю надежду, что мы станем друзьями. Чем занят сейчас?

— Пишу стихи...

— И что, получается? — в голосе я уловил заинтересованность.

— Не знаю...

— Дашь почитать?

— Наверное, когда-нибудь дам.

— Когда?

— Когда, как ты сам сказал, мы станем друзьями.

ми.

— Чего же нам откладывать это дело? Я могу сейчас же прийти к тебе.

Я на миг задумался.

— Знаешь, где я нахожусь?

В ответ — хихиканье.

— Тогда приходи! — решительно произнес я и положил трубку.

Раздался звонок. Я открыл дверь. Передо мной стоял высокий мужчина средних лет в сером костюме и черной шляпе, на бабочке — жемчужная булавка.

Он степенно вошел, огляделся по сторонам, снял шляпу и остановился посреди комнаты.

— Это вы звонили мне по телефону?

Он кивнул головой.

— Кажется, я вас где-то видел.

— Да, — сказал он, — вчера, когда выходили из дома.

Только теперь я заметил, что мы обращались друг к другу на вы. Ничего от фамильярности наших разговоров по телефону не осталось.

— А-а, вспомнил...

— Да, — произнес он, словно отгадав мои мысли. — Странное у нас знакомство получилось, не так ли?

Неожиданно я разозлился.

— Что вам надо, чего вы звоните мне?

Он посмотрел на меня пристально и пожал плечами.

— Чтоб познакомиться, — сказал он как ни в чем ни бывало.

— Вы говорили что-то о Нино. Вы что, знакомы?

— Да.

— Вы от нее выходили утром?.. — догадался я.

Он кивнул, продолжая улыбаться.

— Как, стало быть?..

— Не подумайте ничего плохого, мы давние друзья. — И он поправил бабочку.

— Чаю не хотите? — спросил я. Ведь должен был я что-то сказать.

Он вновь кивнул.

Я вышел на кухню. Вернувшись в комнату, я увидел, что он стоит перед столом и читает мои стихи.

— Что вы делаете? — рассердился я.

Он не ответил, потом, вздохнув, сказал:

— Это — ничего, — и ткнул пальцем в один лист.

Потом открыл папку.

Я вырвал ее из его рук.

Он удивленно взглянул на меня. Я почему-то растерялся и вернул ему папку.

Из кухни послышалось шипение. Я пошел за чайником. Когда я с подносом вышел из кухни, незнакомец сказал:

— Прекрасно. — И сел за стол. Я последовал его примеру.

Он не спеша отпил чаю, откусил сухарь и сказал:

— Теперь я уже знаю вас.

Я пожал плечами:

— Да, но я вас не знаю.

Он придвинулся ко мне и прошипел:

— Ничего, узнаешь, малыш!

Я подумал, что ослышался. А незнакомец продолжал:

— У меня небольшая просьба.

— Говорите!

— Подарите мне это стихотворение. В руке он держал тот самый лист, в который недавно ткнул пальцем.

— Пожалуйста, — ответил я растерянно.

— Что ж, прекрасно, — произнес незнакомец с удовлетворением. — Примите от меня в знак благодарности, — добавил он, помолчав, и что-то протянул мне. Это было бриллиантовое кольцо.

— Я не могу принять столь дорогой подарок, — сказал я с некоторой тревогой, думая про себя, не сумасшедшим ли имею дело.

Он улыбнулся.

— Нет, я не сумасшедший, — захихикал он, словно отгадав мои мысли, — просто-напросто я давно мечтал подарить это кольцо какому-нибудь начинающему поэту. На этом мы и закончим наш разговор.

Он достал из кармана белый платок, вытер лоб и сказал:

— Ты хорошо сделал, что подарил мне стихотворение. — С этими словами он встал, надел шляпу, открыл дверь и...

Едва незнакомец ушел, как у меня разболелась голова.

Я подошел к окну, облокотился о подоконник и стал смотреть на небо. Небосвод был багряный, солнце погружалось за облака, казалось, что огромное окровавленное сердце кто-то обернул прозрачным покрывалом. На проводах сидели воробьи и чирикали. Неожиданно меня обуяла ярость. Кто этот незнакомец, так непрошено ворвавшийся в мою жизнь? На каком основании он попросил у меня стихотворение? И почему считал долгом поучать меня, шипя своим паршивым голосом?

А вокруг все постепенно затягивалось облаками, еще мгновение — сверкнула молния и раздался гром. Пошел дождь. Но он не радовал. Напротив, в нем скрывалось нечто, предвещающее беду. Я взглянул на свой палец. На нем сверкало кольцо, подаренное незнакомцем. Обожгло предчувствие чего-то недоброго. Я снял кольцо и положил его в карман.

Шесть часов. «Нино, наверное, уже пришла», — подумал я, садясь в кресло. «Стало быть, они знакомы»... При мысли об этом я помрачнел. Вопреки всему какая-то сила толкала меня к Нино. Я покорился этой силе и спустя несколько минут дрожащей рукой нажал на кнопку звонка ее квартиры.

Улеглись первые порывы страсти, и я поведал Нино о незнакомце. Она слушала, лежа навзничь в постели и смотря в потолок.

— Говоришь, сам пришел и познакомился с тобой... — произнесла она хриплым голосом.

— Да.

— И что же?..

— Он сказал, что вы знакомы. И еще сказал, что вчера утром он уходил от тебя.

— Ты что, ревнуешь?

— Нет, но... Хочу знать, кто он и что вас связывает.

— Он мой друг... — вздохнула Нино. — Мой старый друг!

Некоторое время мы молчали.

— Покажи-ка мне кольцо, — вдруг сказала Нино. Я достал из кармана брюк кольцо.

— Ни один из начинающих поэтов не получал такого гонорара, — засмеялась Нино. Потом как-то странно взглянула на меня и тихо добавила: — Одолжи мне кольцо на несколько дней. — И она надела кольцо на средний палец.

На следующее утро, когда Нино ушла на работу, я позавтракал и взялся за книгу. Не помню, что это была за книга, но помню, что читал что-то интересное. Читал около двух часов. В этот промежуток времени несколько раз звонил телефон, но Нино предупредила меня, чтоб я не снимал трубку.

Наконец я встал, оделся и вышел. День был погожий: ясное небо, легкий ветерок, раскачивающий ветви деревьев, от чего на стенах домов дрожали причудливые солнечные зайчики, соскользнувшие с листьев. Улица была пустынна. Я шел, напевая про себя какую-то мелодию. Так дошел до перекрестка. И тут увидел, как улицу пересек низкорослый большеголовый парень. Ну и мордан, подумал я, глядя на парня, подходящего ко мне.

— Привет, — сказал он с улыбкой и бесцеремонно хлопнул меня по плечу.

Я недоуменно взглянул на него.

— Закурить найдется? — продолжал он, не замечая моего удивления.

— Вы меня с кем-то путаете!

— Вовсе нет... Ты разве не...? — И он назвал мое имя.

Я почему-то вдруг успокоился, достал из кармана пачку сигарет и протянул ему.

Он закурил, жадно затянулся, потом сплюнул, взглянул на меня и сказал:

— Меня послал хозяин. Он в подвале.

— Кто?

— Хозяин, — подчеркнуто произнес он.

— Я не знаю такого, — пожал я плечами.

— Тогда, говоря понятнее, твой Доброжелатель, тот, что недавно подарил тебе кольцо.

— О, это другое дело, — сказал я. — Но сейчас

не могу, спешу домой. Впрочем... — Я сам не знаю, с чего я вдруг решил последовать за ним. — Пошли... Проводи меня к этому твоему хозяину.

Он хмыкнул и, пританцовывая, пошел впереди меня.

— Это был обычный винный погреб.

— Спускайся, — сказал Мордан и пропустил меня вперед.

Было темно. Я медленно спускался по бесконечной темной лестнице.

— Ничего, скоро выйдем на свет, — пообещал Мордан.

И в самом деле, через несколько минут впереди забрезжил свет, и я ступил на сырой земляной пол.

В углу за столом сидели трое — женщина и двое мужчин. Подойдя ближе, я узнал моего Доброжелателя. Он играл в кости с сидящей перед ним полуобнаженной девушкой неопишуемой красоты. Второй — симпатичный молодой человек в черном костюме. Девушка подвинулась и пальцем указала на место рядом.

Я сел.

Мой Доброжелатель даже не взглянул на меня, что-то пробурчал и бросил кости. Выпало пять и шесть. Он кашлянул и взглянул на девушку. Та взяла кости, потрясла рукой и бросила. Я заметил, что ей выпало две шестерки. Доброжелатель поморщился, потом перевел взгляд на меня и сказал:

— Здравствуй!

— Здравствуйте, — ответил я и пожал ему руку.

— Будешь играть? — спросил он.

— Разумеется, нет!

Он посмотрел на меня пристально.

— Ты, конечно, понимаешь, с кем имеешь дело? — произнес он.

Я кивнул головой.

— Если не хотел играть, чего приперся, болван! — рассердилась девушка и оттолкнула меня.

— Потому и пришел, чтоб сказать, что не желаю иметь ничего общего с вами.

— Эх! — брезгливо поморщился Мордан. — Посмотришь — на человека похож и поговорить с ним



можно, а узнаешь поближе, — оказывается... — он выругался.

— Что ж, — произнес спустя время Доброжелатель, — тогда верни мне кольцо.

— У меня его нет с собой, — покраснел я.

— Ну вот... — развел он руками. Его друзья развеселились.

— Я не думал, что вы попросите кольцо обратно, — смутился я. — Вы ведь сказали, что дарите его.

— За что, интересно? — удивленно поднял он бровь.

— Вам понравилось мое стихотворение.

— Ну и что?

— Я подарил вам его.

— Вот тебе твое стихотворение, — он швырнул мне в лицо скомканный листок бумаги.

Я поймал его на лету.

— Когда вернешь кольцо?

— Послушайте, — разозлился я, — вы ведь знаете, что кольцо у Нино.

— Почему я должен это знать?

— Да, почему он должен знать? — повторил грозно Мордан.

— Разве вы можете не знать чего-то? — пожал я плечами. — К чему эти фокусы?

— Какие фокусы! — разъярился Мордан. — Как ты разговариваешь с хозяином?

— Он для меня не хозяин, — парировал я, — к тому же...

— Хозяин для тебя тот, кому ты должен, — произнес спокойно Доброжелатель, неприятно ухмыльнулся и добавил: — Ну да к черту тебя. Не хочешь — не надо. Принесешь кольцо завтра в это же время. А теперь, — повернулся он к Мордану, — проводи наверх этого болвана и дай ему хорошего пинка.

Нино оказалась дома.

Я вошел в комнату и сел на диван.

— Что случилось? — спросила Нино и села рядом.

— Ничего, — я облокотился о подушку. — Что могло случиться?

— Не знаю, — сказала она, двусмысленно улыбаясь. — С человеком все может приключиться.

— Нино, я пришел к тебе в последний раз, — выдал я из себя.

Она тревожно взглянула на меня.

— В чем дело? Что-то все-таки случилось?

— Да.

Она склонилась ко мне и заглянула в глаза.

— Что именно?

Боже мой, как она была прекрасна в эту минуту!

— Я ничего не могу сказать, Нино. Одно несомненно — мы должны расстаться.

— И ты не хочешь сказать почему?

— Прошу тебя, не спрашивай!

— Хорошо, — сказала она после минуты молчания. — Я догадываюсь: причина в моем старом друге.

Я встал.

— Уходишь?.. Ты в самом деле уходишь? — заволновалась она. — Может, еще немного побудешь?

— Нет... — Я был тверд в своем решении. — Извини, но... дай мне кольцо, я должен вернуть его хозяину.

Она застыла на месте.

— Так вот в чем дело... — Она сняла с пальца кольцо и протянула его мне.

— Я пошел.

— Знаешь что? Подари мне этот последний день. Пойдем погуляем... Потом вернемся ко мне... А утром ты уйдешь. И раз ты так решил, не приходи больше никогда... Только подари мне этот последний день... — голос у нее дрогнул.

Я смотрел на нее затуманенным взглядом. Соблазн был велик.

— Хорошо, — согласился я наконец и обнял ее. — Только не пойдем никуда, останемся дома.

— Нет, нет... — она, смеясь, высвободилась из моих рук. — Мы ведь никогда с тобой не гуляли... — Она пошла в спальню и вскоре вышла с сумочкой.

— Да, кстати, ты можешь потерять кольцо. Лучше надень его. — Она почти силой разжала мой кулак, взяла кольцо и надела его мне на палец.

Мы не спеша шли по спуску. Нино была взволно-

вана, говорила громко. Когда мы подошли к зоопарку, она остановилась.

— Зайдем? — спросила она.

— Что мы там потеряли?

— Там так хорошо... — ответила она. — Крокодилы, медведи, волки и... главное — обезьяны... — И громко засмеялась.

Не успел я ответить, как она подбежала к кассе, купила два билета, вернулась и чуть ли не силком повела меня к входу.

Я покорно последовал за ней.

Она подолгу останавливалась перед каждой клеткой, разговаривала со зверями. Когда мы подошли к вольеру с барсом, она просунула руку в решетку и похлопала зверя по лапе. Тот даже не шелохнулся. Я от изумления разинул рот. Нино засмеялась.

— Не удивляйся. Мы давние друзья

— Уйдем отсюда. — Мне почему-то стало тревожно.

— А обезьян? Мы ведь не повидали обезьян.

Перед клеткой с обезьянами она открыла сумочку, достала шоколадную конфету и тихо позвала:

— Мики!..

От крайнего угла клетки отделился огромный орангутанг, направился в нашу сторону, высунул волосатую лапу, схватил конфету и вместе с оберткой отправил ее в рот...

— Это Мики! — довольная, произнесла Нино. — На, ешь и ты, — повернулась она ко мне.

Я, как загипнотизированный, протянул ей руку. В тот же самый миг Мики, вновь высунув лапу, схватил с ладони мою конфету, и я почувствовал, как вместе с конфетой сдернул с пальца и кольцо...

Некоторое время я оцепенело смотрел на него, потом взглянул на Нино и снова перевел взгляд на Мики, который успел надеть кольцо на палец.

— Скажи, чтоб вернул кольцо, — сказал я с угрозой в голосе.

— Мики, Мики! — встревожилась Нино. — Верни кольцо хозяину.

Мики стоял как ни в чем ни бывало и улыбался.

— Во всем ты виновата, колдунья! — рассвирепел я. — Скажи, чтоб вернул кольцо, иначе...



Нино вдруг словно подменили.

— Сам скажи, — бросила она равнодушно и пошла к выходу.

Я погнался за ней, схватил за руку и повернул к себе.

— Пусть вернет! — крикнул я и изо всех сил сжал ей руку.

— Ты, кажется, сошел с ума, — холодно произнесла Нино. — Что я могу?

— Оо, ты можешь многое! — воскликнул я в отчаянии.

Она бросила на меня презрительный взгляд и направилась к выходу.

Я хотел было последовать за ней, но не смѣг сдвинуться с места. Откуда ни возьмись, предо мной вдруг возникла полная пожилая женщина в зеленом фартуке. Я радостно схватил ее за руку.

— Вы смотрите за зверями?

— Да... — Она внимательно взглянула на меня.

— Послушайте... — я попытался говорить спокойно. — Обезьяна... Мики... Вы знаете его?..

— Нет... — удивленно произнесла она. — Я не слышала о таком.

— Короче... Обезьяна вырвала у меня вместе с конфетой бриллиантовое кольцо.

— И что?.. — женщина вновь внимательно оглядела меня.

— Отнимите кольцо! — взмолился я. — Отнимите, я в долгу не останусь!

Женщина задумалась.

— Покажите мне эту обезьяну, — сказала она наконец и направилась к клетке.

— Вон там... большой орангутанг... — сказал я, вытянув руку.

— Он спит, — сказала женщина.

— Я вас не понимаю...

— Он спит... Жалко будить.

Я удивленно взглянул на нее.

— Кого вам жаль будить?

— Обезьяну, конечно же.

— Ага! — закричал я. — Теперь я все понимаю...

Но у тебя ничего не выйдет! — угрожающе взмахнул я рукой.

— Что не выйдет?

— Я понял: ты хочешь заполучить это кольцо, — закричал я. — Не выйдет, я сейчас же пойду к вашему директору!

— В шесть часов у нас кончается работа. Можете сами убедиться. Дирекция вон в том белом здании.

«Дирекция зоопарка» — прочел я на табличке, подбежав к зданию. Двери оказались запертыми.

Я возвратился к женщине.

— Послушай, — я сдерживался изо всех сил. — Отними кольцо, и я дам тебе сто рублей.

Женщина, помолчав, сказала наконец:

— Жалко беднягу, не могу будить.

С этими словами она сняла фартук, положила его в сумку и направилась к выходу.

— Идемте... — обратилась она ко мне. — Пора закрывать ворота.

Путь до дома я прошел пешком, совершенно подавленный случившимся. Все, кроме сестры, были дома.

— Папа с мамой на кухне, — шепнул брат. — Лучше не показывайся им на глаза.

Родители сидели за столом и пили чай. При виде меня даже не подняли головы.

— Бойкот? — попытался я отшутиться.

— Ну что тебе сказать, сынок? — вздохнула мама.

Отец взглянул на меня поверх очков.

— Я просил тебя позвонить...

— Поблизости не оказалось телефонов, — сочрал я.

— Да ладно уж, — махнул рукой отец.

Я молча повернулся, прошел в свою комнату, разделся и лег в постель.

Проснулся я рано. Сел в постели, раздумывая, как мне быть, как идти на встречу с Доброжелателем без кольца?

«К черту, пойду и объясню все, не съест же он меня в конце концов?» — подумал я и стал одеваться. Спустя время я уже спускался по ступенькам подвала.

— Здравствуйте! — приветствовал я сидящих за

столом. А их по-прежнему было четверо — Доброжелатель, Мордан и девушка с парнем. Они не подняли головы, продолжая изучать лежащую перед ними бумагу. Наконец все одновременно взглянули на меня.

— Принес? — спросил Доброжелатель.

— Нет.

— Почему?

Я во всех подробностях поведал о вчерашнем происшествии.

Доброжелатель слушал меня, закрыв глаза, но когда я кончил свой рассказ, поднял голову и оглядел всех.

— Что скажете?

— Врет, — прошипел Мордан.

— Врет, конечно же, врет, — поддакнули парень с девушкой.

— Ворюга! — взревел Мордан и накинулся на меня.

Все повскочили со своих мест.

В руке парня блеснул нож.

Я попятился, быстро одолел лестницу и выбежал на улицу.

За мной бежали.

— Держите! — кричал вдогонку Мордан.

Прохожие останавливались и с удивлением смотрели нам вслед. Вскоре за моими пресловатыми вырос хвост из уличных мальчишек и любопытных. Меня преследовало уже около двадцати человек. Расстояние между нами с каждой минутой сокращалось.

Вдруг, не знаю почему, я глянул на свои руки и в ужасе закричал. Это были не человеческие руки, а длинные обезьяньи лапы.

Как же я содрогнулся, когда понял, что я — это уже не я! Я превратился в огромную волосатую омерзительную обезьяну. Не помню, как меня схватили. Несколько человек крепко держали меня, а Мордан что было оил хлестал меня по лицу.

— Наверное, бежал из зоопарка, — догадался кто-то.

Меня поволокли в зоопарк. Откуда ни возьмись, перед нами выросла уже знакомая мне женщина в фар-

туке, внимательно посмотрела на меня, потом изо всех сил ударила по голове.

— Уже второй раз убегает из клетки, — сказала она, повернувшись к толпе зевак.

Меня силком поволокли и втолкнули в вольер с обезьянами.

Нас было шестеро. Я, Мики, Кики, Рани, Софа и Лола. Мики вы уже знаете: это тот самый орангутанг, что похитил у меня кольцо. Кики — шимпанзе с хриплым голосом и глазами мечтателя. Мики то и дело шпынует его, издеваясь над его сентиментальностью. Из-за этого у нас с Мики случались ярые стычки, в которых я терял клочья шерсти. Мики наотрез отрицает историю с кольцом, утверждая, что не помнит, чтобы отнял у какого-то мужчины кольцо, а если и отнял, то при чем тут я? Когда же я говорю, что я и есть тот самый мужчина, он кривится, плюется и хихикает. Рани постарше нас, он почти все время лежит, тяжело дышит и жалуется на сердце. Рани — философ. Мы часто беседуем с ним на отвлеченные темы. Софа и Лола — две красотишки, они не сводят глаз с Мики и Кики. Правда, Лола раза два подмигивала мне, но я отворачивался, сразу же дав понять ей, что надежды ее напрасны, и она перестала обращать на меня внимание. Во всяком случае, делает вид, что я ее больше не интересую.

Пошел третий месяц моего пребывания в зоопарке. Ничего не скажу о первых днях, ибо словами не передать того ужаса, того отчаяния, в котором я тогда находился. Но, как известно, время — лучший целитель, и я, так или иначе, смирился со своей участью.

Я проснулся рано. Все спали, кроме Рани, который сидел в углу клетки. Он подозревал меня.

— Спал ночью?

— Да.

— А я вот нет. Лорд так храпел, что я не мог уснуть.

Лордом звали льва, который жил в соседнем вольере. Его привезли два месяца назад.

Из будочки, стоящей посреди клетки, высунула голову Софа, улыбнулась и направилась к нам.

— Боже, какой я видела дивный сон! — затараторила она. — Вот бы всю жизнь видеть только такие сны!

— Что же ты видела? — поинтересовался Рани.

— Будто я была в джунглях, висела на ветке кокосового дерева и качалась, и качалась. А под деревом стоял ты, — захихикала она и толкнула меня в грудь.

— Веселитесь? — услышался густой надтреснутый голос Мики.

— А, это ты, Мики? Присоединяйся к нам, — сказала Софа. — Как спалось?

— Тебе какое дело? — огрызнулся Мики.

Софа улыбнулась.

— Пойду вздремну, — чуть погодя Мики встал, окинул нас сердитым взглядом и направился к себе.

— Облаял всех и убрался, — разозлилась Софа.

За обедом я заметил, что Рани тяжело дышит.

— Что с тобой? — спросил я, когда уже были подъяеты все куски.

— Эх, плохи дела, — вздохнул он. — Чувствую, пришел мой конец.

— Что ты говоришь, Рани? — встревожился Кики.

Мики, пробурчав что-то, скрылся в будочке. Я, Кики, Софа и Лола окружили Рани.

— Только дирекция не должна ничего заметить, — сказал встревоженно Рани.

— Почему? — удивилась Лола. — У них ведь есть врач.

— Да, но врач не может помочь умирающему, — горько проговорил Рани. — Они это хорошо знают... Так вот, вместо того, чтоб помочь мне, они ускорят мою кончину.

— Мы никому ничего не скажем! — воскликнул Кики. — Во вот Мики... Он и вчера ворчал, когда наконец уберут от нас эту дохлятину.

— Как быть? — встревожилась Софа.

— Не думаю, что Мики способен на такое, — сказал я.

Пришло время сна, мы расположились на своих местах и вскоре уснули.

Утром меня разбудил шум. Уборщица мыла щеткой пол.



Я взглянул на Рани. Он сидел, опершись на локоть, и тяжело дышал.

Уборщица долгим взглядом посмотрела на него, потом отвернулась и продолжила работу.

И вот она ушла.

Я задремал.

Вдруг открылась дверь вольера и вошли уборщица и двое огромных детин. За дверью я увидел тележку.

— Который? — спросил один из мужчин.

Уборщица ткнула пальцем в Рани.

— Рани увозят! — закричал я и загородил его собой.

Все повскакали со своих мест.

— Смотри-ка на него! — сказал мужчина и больно ударил меня по голове.

Я упал... Перед ними вырос Кики и загородил собой Рани. Но и его грубо оттолкнули, схватили Рани и потащили.

Мики стоял, скрестив руки на груди.

Щелкнул замок на двери.

Рани бросили на тележку.

Он в последний раз взглянул на нас умными глазами и едва заметно улыбнулся.

Я не спал всю ночь, вспоминались дни, проведенные с Рани, беседы с ним, последний его взгляд... Думал, хоть к утру усну, но видать, в тот день мне не суждено было спать. Едва я сомкнул глаза, как почувствовал, что ног моих коснулось нечто холодное и скользкое. Я вздрогнул, открыл глаза и увидел огромную змею.

— Не бойся! — сказала она. — Меня к тебе послали звери.

— Для чего я вам понадобился?

— Мы просим помочь нам. — В ее глазах блеснула странная искорка. — Из достоверных источников известно, что ты был человеком.

— И что же?

— Неужели тебе не надоело валяться в обезьяньей клетке?

— Что поделаешь... Выше головы не прыгнешь, — сказал я.

— И ты ни разу не подумал о мести? — удивилась змея.

— Я не вижу пути к спасению...

— В кармане уборщицы находится ключ. Он открывает двери всех клеток.

Я в страхе попятился.

— Это ведь бунт! — воскликнул я.

— Вот именно! — гордо подняла голову змея. — Мы должны научить людей уму-разуму!

— Нет, я не смогу сделать это.

— Почему?

Я промолчал.

— Вспомни Рани! — шепнула змея. — Всех нас ждет его участь!

— Да, но как мне добыть ключ? — спросил я дрожащим голосом.

— Когда уборщица войдет в клетку, я ужалю ее в шею и она упадет замертво. Ты достанешь из ее кармана ключ и откроешь двери всех клеток.

— Когда надо будет сделать это?

— Сегодня! Сейчас же!

— Нет, — я покачал головой. — Я не могу.

— Что ж, — вздохнула змея. — Видать, ты еще не созрел для такого дела. Но ничего, через неделю я к тебе вернусь.

Она не спеша поползла по деревянному настилу и скользнула вниз.

Весь день не выходили у меня из головы слова змеи.

И вот наступила ночь. Все улеглись.

Ко мне подполз Кики.

— Послушай, — шепнул он мне. — Я слышал ваш разговор.

— И что ты думаешь?

— Ты должен помочь всем нам, — продолжал Кики. — Если этого не сделаешь ты, я сделаю это.

Некоторое время мы молчали.

— Стало быть, мы должны исполнить волю змеи?

— Не только ее, но и всех тех, кто живет в клетках.

— Хорошо, — сказал я. — Но ведь люди не такие уж дураки... Ты не подумал, какова будет их ответная реакция?

— Какой бы она ни была! — воскликнул Кики. — Хоть раз подышать воздухом свободы, а там хоть умирай!..

И он пошел к себе.

Я лег на пол и тотчас уснул.

Проснулся я оттого, что почувствовал — кто-то подошел к клетке. Я пригляделся. Перед клеткой стояла девушка. Я прильнул к прутьям и протянул ей руку.

Девушка отпрянула, но потом подошла и пожала мне руку.

Она мне кого-то напоминала, хотя я не мог припомнить, кого.

— Что, бедняга, не нравится жить в неволе? — услышал я ее теплый бархатный голос.

Я покачал головой.

Она изумленно взглянула на меня. Провела рукой по глазам — может, ей это приснилось?

— Ты понимаешь человеческую речь? — испугалась она.

— Да, — ответил я.

— Ты разговариваешь? — с трудом вымолвила она от изумления.

И я рассказал ей о своих злоключениях, чего не делал ни разу с тех пор, как превратился в обезьяну.

— Мне кажется, я попала в сказку, — прошептала она.

— Нет, все происходит наяву, — сказал я.

— И что ты намерен делать? — спросила она, помолчав.

— Не знаю... Там видно будет. Как зовут тебя?

— Нелли.

— А меня... — Я назвал свое имя.

— Что я могу сделать для тебя? — сказала она.

— Никому не рассказывай обо мне.

— Да, это невероятная история, — проговорила она, задумавшись.

— Хотя, — спохватился я, — ты можешь помочь мне.

— Как?

— Дома, наверное, думают, что я погиб. Позвони и сообщи им, что я жив и невредим, но больше ничего не говори. И себя не называй.

— Хорошо, — согласилась Нелли, подошла совсем близко к клетке и протянула руку. — Так я пошла, — сказала она. — Скоро я навещу тебя.

— Никому ничего не рассказывай, — крикнул я вдогонку, прильнув к прутьям клетки. Так и уснул.

Печальное, серое наступило утро.

Все было окутано туманом.

Кругом стояли лужи.

Из будки выглянул Кики и вновь спрятался.

Вдруг я увидел тележку, которую катил низкорослый мужчина в синем халате. На ней лежали ветки сирени и капельки росы сверкали на цветах. И тут я заметил, как из-под цветов выползла змея, проскользнула через дорожку и подползла к клетке.

— Здравствуй. — Глаза у нее блестели.

— Здравствуй... — ответил я растерянно.

— Ну что ты решил?

— Я согласен, — промолвил я, — только чтоб обошлось без крови.

— Не волнуйся, — успокоила меня змея. — Это пустяк, главное заполучить ключи. Ты сможешь это сделать?

— Наверное... Вот и Кики поможет.

— Кто это, Кики?

— Это я! — сказал Кики, оказавшийся за моей спиной.

Змея недоверчиво оглядела его.

— Ты?.. Ну, так и быть... Значит, с моей помощью... — у змеи вновь загорелись глаза, — ты завладеваешь ключом, открываешь двери всех клеток. Мы собираемся на площади, обсуждаем наши дела... Будем действовать в зависимости от обстоятельств. Тише, кажется, идет уборщица.

И в самом деле из-за угла появилась уборщица. Она шла с ведром в одной руке и шваброй в другой, напевая какую-то песенку. Подойдя к моей клетке, она открыла ключом дверцу и вошла.

Змея лежала, свернувшись клубком, позади нас.

Вдруг она грозно зашипела и поднялась. Женщина не успела даже вскрикнуть. Мы накинулись на нее, повалили на пол, сняли с нее поясок и связали ей руки и ноги.

— Что вы делаете! — закричал Мики и бросился развязывать ее.

В ту же секунду белые острые зубы змеи вонзились ему в ногу.

Мики закачался, проговорил что-то и упал.

— Что ты натворила! — закричал я.

— Выхода не было, — зашипела змея. — Ну что, достал ключ? — обернулась она к окаменевшему от страха Кики.

Кики показал ключ.

— Следуйте за мной, — приказала змея и заскользила по мокрому скользкому полу.

По сей день не могу забыть эту картину.

Мы кидались от клетки к клетке, отпирали дверцы.

Звери, выбежав на волю, метались, натыкались друг на друга, запыхавшись, делились новостями. И все бежали в одном направлении — к площади.

На площади они обступили Лорда, гордо стоящего в центре.

Воцарилась тишина.

Лорд поднял голову.

— Друзья! Позвольте мне от вашего имени поблагодарить нашего старого товарища, — он указал на змею. — Это благодаря ей нам удалось покинуть постылые клетки и вырваться на волю.

Гул одобрения прокатился среди собравшихся. Змея подняла голову и степенно склонила ее в поклоне.

Из толпы отделилась рысь.

— Чего мы медлим? — зарычала она. — Выломаем ворота зоопарка, выйдем отсюда и расправимся со своими врагами.

— Надо подумать, — не спеша проговорил бурый медведь, стоящий в первом ряду.

— О чем тут думать?! — заскрежетала рысь зубами. — Смерть людям!

Звери подхватили эти слова.

Лорд поднял лапу:

— Друзья! Нам не следует сейчас терять разум!

Пыл у зверей поостыл.

— Я долго думал, — продолжил Лорд, — что нам делать, когда, покинув наши клетки, мы убедимся, что наша затея — безнадежна.

— Он изменник! — завопила черная пантера, сидящая на ветви дерева.

Лорд поднял голову.

— Да, я убедился, что все напрасно, — продолжил он, словно и не слышал оскорбительных слов. — Джунгли далеко отсюда, пешком мы никогда не доберемся до них.

— Зато мы можем отплатить людям за ту боль, которую они нам причинили! — закричала пантера. — Мы умрем, но прежде чем умереть, мы отправим на тот свет с десятков людей!

— Нет, так не годится, — покачал головой Лорд. — Но, кажется, что-то хочет сказать Элис.

Элис — огромный серый слон — вышел вперед.

— Вот что я скажу, — начал он. — Вы знаете, что я давно живу в зоопарке. И хорошо знаю чюдоев. Среди них встречаются и злые, и добрые. Вообще-то человек умен. Но к своему несчастью думает, что мы глупы. Так вот, теперь нам предоставляется возможность доказать людям, что это не так. — С минуту помолчав, Элис продолжил: — Давайте спокойно выйдем из зоопарка, пройдем по улицам города и... — Он замолк, задумавшись.

— И... — пришел ему на помощь медведь.

— Снова вернемся в зоопарк и расселимся по своим клеткам.

Черная пантера ехидно оскалилась.

— Твоя тыква ничего лучше не могла придумать?

Другие молчали.

— Люди убедятся, что нам можно верить, — продолжал Элис. — Возможно, они поймут, что, несмотря ни на что, мы не представляем для них угрозу... И, вероятно, у них изменится представление о нас.

— Я не понимаю тебя, Элис! — крикнул молодой волк.

— Возможно, люди поймут, что нам от них ничего не надо и тогда они станут добрее к нам.

Звери призадумались.

— Ты, как я погляжу, совсем не знаешь людей, — со злостью произнесла пантера.

— Но и они не знают нас, — спокойно возразил ей слон. — Может, пришло время узнать нам друг друга?

Слова Элиса вселили во всех надежду, но она была настолько неопределенной и туманной, что все понимали — полностью следовать совету Элиса невозможно.

Наконец снова заговорил Лорд.

— Друзья! Я знаю, все мы претерпели немало мучений в стенах зоопарка, мы достойны быть на свободе, но... Вы видите, нам еще далеко до нее, мы все еще зависим от воли человека. Правда, пришел час, когда мы можем проучить людей, но что это даст нам? Давайте внемлем словам нашего самого мудрого друга — Элиса, и поступим так, как он советует. Надеюсь, никто не сомневается в его честности? — Лорд обвел всех взглядом. — Так построимся, — продолжал он, — и в дорогу. А то уже скоро и ночь наступит.

Медленно тронулась по улицам города необычная процессия. Впереди шел Лорд. За ним не спеша — Элис, за Элисом — волки, затем пантеры, рыси, шакалы и многие, многие другие звери. И в самом конце я, Софа, Лола и Кики.

Улицы были пустынные. Даже машин не было. И лишь в окнах за стеклами виднелись испуганные лица людей.

— Интересно, откуда у Лорда с Элисом надежда, что люди поверят нам, — проговорил Кики. — И еще, поглядите, идут только хищные звери, где же олени, козы, лани? Даже лисиц не видать...

— Они не захотели идти, — проворчал старый волк и нахмурился. — Да я и тому удивляюсь, с какой стати вы идете с нами?

— Не забывайте, что это мы открыли двери ваших клеток! — возмутился Кики. — Если бы не мы, вы все еще находились бы в зоопарке.

— Эй ты, балаболка! — закричал старый волк, и глаза его налились кровью. — Неужто наша свобода зависела от тебя? — Он заскрежетал зубами.

— Что там случилось? — заинтересовались идущие в передних рядах.

— Что случилось?.. Да вот меня интересует, что нужно среди нас обезьянам?

— Обезьянам? — пантера взглянула на змею...

— Я не знаю, — прошипела змея.

— И мы не знаем! — завопили другие.

— Уймитесь! — спокойно произнес Элис и качнулся всем телом. — Разве не они помогли нам освободиться из заточения?

— Но они не едят мяса! — крикнул кто-то. — Они смешны и трусливы!

— Мяса и я не ем, — сказал Элис.

— Ну что, продолжим путь? — спросил Лорд.

— Пусть обезьяны убираются! — крикнула рысь.

— Они и так плетутся в хвосте, — встал Элис на нашу защиту. — И в конце концов, помните, что один из них еще совсем недавно был человеком.

— Тем хуже для него! — воскликнула пантера и глаза у нее вспыхнули злым огнем. — Покажите-ка мне его! — И она ринулась к обезьянам.

Слон хоботом остановил ее:

— Ты забыла, ради чего мы устроили это шествие по улицам города?

Пантера несколько успокоилась.

— Ну пусть идут хотя бы чуть в стороне, — проговорила она примирительно.

— Хорошо, — сказал слон и подошел к нам. — Ради бога, идите в десяти шагах от нас.

Процессия продолжила путь. Улицы по-прежнему были пустынные. Вдруг послышался отчаянный крик женщины. И мы увидели, как улицу перебежала девочка лет трех и остановилась перед Лордом.

Лорд тоже остановился.

Вслед за ним стали другие.

А девочка подошла совсем близко к Лорду и погладила его по гриве.

Лорд вздрогнул, отступил и зарычал. Девочка не испугалась, погладила Лорда еще раз и подбежала к Элису.

— Меня зовут Аня, — сказала она. — А тебя?



Элис молча обвил ее длинным хоботом, бережно поднял и посадил себе на спину.

Вновь закричала женщина, но в крике ее было теперь больше изумления, нежели ужаса.

Аня же, ухватившись за ухо Элиса, громко смеялась.

Мы продолжили путь.

— Осторожно, впереди люди! — закричала пантера.

— У них в руках ружья, — добавила рысь.

И в самом деле на перекрестке стояли вооруженные до зубов люди.

— Что нам делать? — спросила пантера Элиса.

— Не спешите идти вперед, — спокойно произнес Элис. — Дайте мне пройти.

И он медленным шагом направился к людям. Подойдя к ним совсем близко, остановился и бережно опустил девочку перед совершенно растерявшейся толпой. Из толпы выступил мужчина, наклонился к девочке, поднял ее на руки и передал тому, кто стоял за ним.

Элис не двигался.

Люди один за другим опустили ружья.

Элис степенным шагом пошел вперед. Люди раступились.

Звери пошли вслед за умным, мудрым слоном.

Когда мы подошли к площади, вновь вперед прошел Лорд.

Мы обошли кругом площадь и повернули обратно. Чувствовалось, что никто не хотел возвращаться, шли понурые, не глядя друг на друга. Каждый думал о своем.

Вдруг я увидел знакомый подвал. У входа в подвал стояли Доброжелатель и Мордан.

По лицу Доброжелателя блуждала насмешливая улыбка. Он поманил меня пальцем. Я подошел.

— Плетешься в самом хвосте, а? — хихикнул он. Я промолчал.

— Не стосковался по людям? — спросил он странным голосом и огляделся.

— И вы еще спрашиваете? — хихикнул вслед Мо-

рдан. — Видели бы вы, как он вздрогнул, когда вы задали ему этот вопрос!

— А он заслужил это?

— Что именно, хозяин?

— Чтоб его вернули к людям.

— Он, видать, хлебнул немало, — заметил Мордан.

Доброжелатель задумался.

— Хорошо, — сказал он наконец и вздохнул. — Идем, — позвал он меня и первым стал спускаться в подвал.

Я, Доброжелатель и Мордан сидим за столом.

В руке у Доброжелателя игральные кости. Он пристально смотрит на меня.

— Что скажешь, сыграем? — спрашивает он, подмигивая.

Я тяжело вздыхаю.

— Что случилось?

— Да он не посмеет играть с вами, — говорит Мордан. — Пусть сыграет сначала со мной.

Доброжелатель молчит.

— Нет! — отвечает он наконец. — Со мной или ни с кем. Что скажешь? — обращается он ко мне и по губам его вновь скользит насмешливая улыбка.

И тут я понимаю, что пришло время действовать. Во всем теле ощущаю необычайную легкость.

— На что играем? — спрашиваю я и забираю у него кости.

— Выиграешь, вернешь себе прежний облик, — говорит Доброжелатель. — Если нет, то...

— Что?.. — нетерпеливо восклицаю я.

— Если нет, то... — повторяет он и задумывается. — Тогда до последних дней жизни будешь служить мне.

— Идет! — говорю я и бросаю кости. Даже не смотрю, что выпадает.

— Два и один, — хихикает Мордан.

Кидает Доброжелатель.

Я впиваюсь глазами в кости.

— Один и один! — объявляю я громко. — Два очка.

— По сколько раз кидаем? — хитрит Доброжелатель.

— По одному, таков был уговор, — отвечаю.

— А мы не договаривались, — юлит Доброжелатель.

— Будь по-твоему! — соглашаюсь я, беря кости. И тут замечаю, что у меня человеческая рука. Дотрогнувшись до лица, я убеждаюсь, что ко мне вернулся прежний облик.

— Что это было?! — восклицаю я изумленный.

— Сон, — смеется Мордан. — Всего лишь сон. Теперь-то ты понимаешь, что все подвластно хозяину.

— Сон? — усомнился я. — О чем это ты?..

— О твоём перевоплощении... о зоопарке...

— Все это тебе приснилось, — невозмутимо произносит Доброжелатель. — А кольцо я тебе дарю... Теперь уходи, пока я не передумал.

Я встаю и, шатаясь, поднимаюсь по лестнице.

Не помню, как очутился в саду. Сев на скамейку, я огляделся и увидел двух девушек. Они прошли мимо. Одна из них оглянулась. Я узнал ее! Это была Нелли!

— Здравствуйте, Нелли!

Девушка смотрит на меня с удивлением.

— Откуда вы знаете, что меня зовут Нелли? — спрашивает она.

— Если можете, присядьте, пожалуйста, — прошу я. — Я вам все объясню. Вообще-то мне следовало бы удивляться еще больше, — добавил я после недолгой паузы.

— Я пошла, — говорит Неллина подружка и многозначительно смотрит на нас.

Нелли в растерянности молча кивает головой.

И я начинаю свой рассказ. Она смотрит на меня широко раскрытыми от изумления глазами.

— Удивительно! — выдыхает она. — Значит, я...

— Вы были лучом света, посланным мне в тот страшный сон, понимаете?

— Понимаю... — шепчет она.

Я смотрю на нее, продолжая что-то говорить.

Она проводит пальцем по моей щеке и тихо говорит:

— Слеза... А вот это уже ни к чему...

С этого дня мы с Нелли стали встречаться. Однажды вечером, гуляя, мы пришли в сад и сели на скамейку.

Смеркалось. Прозрачные облака клубились вокруг янтарной луны.

Я обнял Нелли и привлек к себе.

— Хорошо, верно, сидеть вот так и смотреть на небо, — сказала Нелли.

— Да, — согласился я.

В это время на скамейку рядом с нами сел бородатый мужчина. У него было красивое в морщинах лицо.

— Сигареты у вас не найдется? — спросил он глухим голосом.

Я протянул пачку. Он вытянул сигарету, закурил, жадно затянулся, потом наклонился к нам и произнес:

— Вы очень любите друг друга?

Признаться, я удивился.

Нет, не удивился, скорее даже разозлился, но в голосе и глазах мужчины было столько тепла, что я невольно кивнул в ответ.

— А вот меня никто не любит, — тяжело вздохнул мужчина. — Эх, да разве человек ценит, какое это благо — молодость.

— А что, в молодости вас любили многие? — спросила Нелли, лукаво улыбаясь.

Мужчина внимательно взглянул на нее.

— Да, довольно-таки многие! — вымолвил он, помолчав.

— И где же они теперь? — не унималась Нелли.

— Со мной! — сказал старик и улыбнулся. — Во всяком случае, некоторые.

— Как это — с вами?

— Дома, на стенах.

— На стенах? — удивилась Нелли.

— Да, я нарисовал их.

— А, так вы художник? — догадался я.

— Допустим... — Мужчина улыбнулся. — Может, заглянем ко мне? — предложил он.

— К вам?

— Да. Я покажу свои картины, выпьем чаю. — Он подмигнул мне. — Пойдем?

— Не знаю, — пожал я плечами и взглянул на Нелли.

Нелли молчала.

— Ну как? — спросил мужчина.

— Пойдем, — согласилась вдруг Нелли и встала.

— Прекрасно, — обрадовался мужчина и протянул мне руку: — Вамех...

Мы в ответ назвали свои имена.

— У меня дочь — ваша ровесница, — сказал он. — Может быть, она будет дома. Познакомитесь. Что ж, пошли, я живу неподалеку.

И в самом деле через несколько минут мы подошли к дому, где жил Вамех.

Это был довольно большой одноэтажный каменный дом.

Дверь нам открыла девушка, высокая, очень приятной наружности.

Мы вошли в просторную, ярко освещенную комнату.

Вскоре мы вчетвером сидели за столом, пили чай и вели непринужденную беседу.

— А вы нам что-то обещали, — напомнила Нелли.

— А, картины!.. — как-то странно улыбнулся Вамех. — Они в галерее, я там обычно работаю.

Картин оказалось не более десяти. Два пейзажа, один натюрморт, остальное — портреты. Во всех работах чувствовалась рука мастера.

Вдруг я замер, пораженный, перед одним портретом — с полотна мне улыбалась Нино.

Вамех, видимо, заметил мое удивление, подошел ко мне и спросил, несколько растерянный.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего, — сказал я. — Вы ее знаете? — я показал рукой на портрет Нино.

Теперь пришло время поразиться Вамеху.

— Так и ты знаком с Нино?

— Да, — сказал я и добавил тут же: — А вы давно знакомы?

— Да... Когда-нибудь я поведаю вам эту историю.

— Когда? — нетерпеливо спросил я.

— Ну хотя бы завтра, — произнес он, тяжело вздыхая. — Завтра воскресенье. Зайди ко мне часам к двенадцати.

Посидев еще немного, мы распрощались с Вамехом и его дочерью.

На следующий день в двенадцать часов мы с Вамехом сидели в его мастерской.

Он смотрел в окно, постукивая по столу длинными восковыми пальцами.

— Сколько тебе лет? — спросил он неожиданно.

— Девятнадцать.

— М-да... — сочувственно улыбнулся он. — Ты любишь ее?

— Кого?

— Нино... — произнес он, помедлив.

— Как вам... сказать... — запинаясь, начал я. — Не знаю, люблю ли? Вероятнее всего — нет. Но во всяком случае, более привлекательной женщины я не встречал.

Вамех взглянул на меня, потом отвел взгляд, а спустя минуту, спросил:

— Так тебя интересует, откуда я знаю Нино?

— Да...

— Ты как-нибудь связан с искусством?

— С искусством? — удивился я.


— Да, с искусством, — повторил он. — Пишешь, рисуешь, играешь?

— Пишу стихи... — покраснел я. — Но так себе...

— Ага... Стало быть, пишешь, — произнес Вамех с некоторым злорадством. — Да, в тебе есть что-то...

— ?..

— Есть в тебе сила. — Он раздавил сигарету в пепельнице. — А теперь слушай... Я тебе расскажу давнюю историю. Давай назовем ее сказкой... Грустной красивой сказкой. О художнике и женщине... Женщине, которая... — Он замолк, пристально взглянул на меня. — Хотя... ты этого не поймешь... Лучше, я просто расскажу сказку... Прекрасную и в то же время, — он помрачнел, — страшную сказку.



В провинциальном белоснежном городке жил молодой художник, жил он одиноко. Жил себе, бродил по городу и... рисовал. Городок был приморский и этим еще больше привлекал художника. Утром приходил он на берег моря и рисовал. Это были лучшие часы его жизни. Но вот в один прекрасный день, когда он собирался уже уходить, вдруг увидел, как из моря вышла женщина. Он взглянул на нее и... понял, что отныне он не сможет стереть ее из своей памяти. Я не буду рассказывать тебе, как они подружались. художник и женщина, которая вошла в его жизнь как фея. Скажу только, что они вспыхнули любовью друг к другу. Во всяком случае, так думал художник. Он много раз писал ее портрет и с каждым днем любил сильнее прежнего. Прошло почти двадцать лет, и вот однажды художник обратил внимание на то, что... годы никак не отразились на любимой им женщине. Она была так же молода и прекрасна, как при их первой встрече. Художнику исполнилось сорок лет. Женщине должно было бы быть столько же, когда жизнь подарила им огромную радость — у них родилась дочь. Но судьба уготовила художнику новое испытание. Однажды он проснулся от громкого плача девочки — ей было уже два года. Жены не оказалось дома, а на столе он обнаружил клочок бумаги. На нем было написано: «Ухожу. Больше не вернусь». Скупые, страшные слова!.. Но человек привыкает ко всему. Прошло время и художник свыкся с мыслью о том, что они никогда не увидятся. Прошло еще двадцать лет. Многое изменилось за эти годы. Художник с дочерью переехали в другой город. И вот однажды... Он шел по улице и вдруг встретил свою жену, или возлюбленную, даже не знаю как называть ее. И каково же было его изумление, когда он не увидел на ее лице ни одной морщинки! Напротив, она казалась моложе, чем двадцать лет назад.

— Выходит...

— Выходит, — прервал Вамех, — что это сказка.

— Погодите... я, кажется, догадываюсь... Та женщина... ваша возлюбленная... Нино?

Губы старика скривились в вымученной улыбке.

— Да...

— Это немыслимо! — вырвалось у меня.

— Сколько, по-твоему, лет Нино, с которой ты знаком? — поинтересовался Вамех.

— Наверное, не больше двадцати пяти.

— Это она, — произнес он тихо и положил руку мне на колено. — А теперь расскажи-ка, что связывает тебя с этой женщиной.

Я с трудом, заплетаясь, поведал ему о своих злоключениях.

— Стало быть... и ты... — вздохнул Вамех.

Я взглянул на него — на нем лица не было.

— Что я?

— И ты многое испытал...

— Выходит, — произнес я задумчиво, — правда, то был сон, но...

— Такой сон мучителен, — заметил Вамех.

— Неужели эта женщина так страшна?

— Страшна? Что ты!? — воскликнул он. — Это самая прекрасная женщина на свете... Но... что я говорю?.. Да разве ты сам не знаешь этого?

Я смотрел на него и молчал. И вдруг я догадался.

— Значит, — произнес я тихо, — ваша дочь...

— Да, она дочь Нино, — ответил Вамех спокойно, хотя минуту назад был очень возбужден. Я назвал ее в честь матери.

— Пойду я... — вымолвил я после недолгого молчания и встал.

Вамех проводил меня до дверей.

Зазвонил телефон.

— Слушаю.

— Привет, это я, Нелли.

— А, Нелли, здравствуй.

— Встретимся?

— Встретимся?.. Где?.. — спросил я неуверенно.

— Что с тобой? Там, где мы обычно встречаемся.

— А может, тебе прийти ко мне?

— Не поздно?..

— Ну и что?

— Хорошо, — вздохнула она. — Приду.

Через некоторое время мы с Нелли сидели на диване в моей комнате.

— Поужинаем... — предложил я.



— Я недавно ела, не беспокойся. Ты лучше рас-  
скажи, что было у Вамеха.

— У Вамеха? — удивился я.

— Да, — она лукаво улыбнулась.

— А тебе откуда известно, что я был там?

— Вчера я краем уха слышала ваш разговор.

— Ааа!.. — произнес я задумчиво. — Знаешь, после расскажу, сейчас неохота...

— Хорошо, — в голосе Нелли была обида.

Я придвинулся к ней, обнял и привлек к себе. Она спокойно взглянула на меня умными ясными глазами.

— Мне все время хочется быть с тобой, — вздохнула она. — Что делать, не знаю...

— И я не знаю...

— Ты ведь мудрый. Почему не знаешь?

— Мудрый? Не думаю...

— А я знаю, что ты мудрый, — упрямо повторила она. — Да, кстати...

— Что? — спросил я.

— Ты заметил, какая Нино красавица.

— Какая Нино?

— Дочь Вамеха... А как у тебя дела в институте?  
— неожиданно переключилась она на другую тему.

— Ничего... Скоро экзамены...

Воцарилось молчание.

— Хочешь послушать музыку?

— Да, — обрадовалась она. — У тебя новые записи?

Я кивнул головой, подошел к магнитофону и включил его.

— Когда думаешь навестить Вамеха?

— Не знаю... Наверное, никогда...

— Почему? Тебе что, неприятно его видеть?

— Да нет, не потому...

До поздней ночи мы слушали музыку.

Наутро в семь часов раздался телефонный звонок.

— Да!.. — спросонья отозвался я.

— Здравствуй... — услышал я спокойный грудной голос.

Я вздрогнул. Это был голос Нино.

— Ты не обознался. Это я, Нино...

Я не нашел нужных слов, чтоб ответить.

— Ты меня слышишь?

— Да.

— Как поживаешь?

— Поживаю...

— Ты по-прежнему сердишься на меня?

Я промолчал.

— Знаешь, почему я позвонила тебе?

— Откуда мне знать?

— Ты познакомился с Вамехом и его дочерью...

Мне показалось, будто что-то тяжелое придавило меня.

— Сегодня день моего рождения.

— Поздравляю, — вымолвил я наконец после молчания.

— Так сухо?.. — засмеялась Нино.

— Как могу...

— Приходи ко мне сегодня.

— Это невозможно.

— Почему? — услышался вновь ее спокойный мелодичный голос. — Приходи. Можешь пригласить и Вамеха с дочерью. И Нелли.

— Я ведь сказал, что это невозможно, — повторил я упрямо.

— Приходи. Узнаешь нечто интересное.

— Что именно?

Она засмеялась.

— Сейчас не скажу.

Я на мгновение задумался.

— Не знаю... — вымолвил я, хотя чувствовал, что непременно пойду. Какая-то непостижимая сила влекла меня к Нино. Любовь? Тоска? Нет. Скорее любопытство... Там наверное будет и Доброжелатель, — подумал я.

— Можешь сказать Вамеху, что я жду его с дочерью, — раздался в трубке голос Нино.

И вслед — короткие гудки.

Лекции закончились в три часа. Я взял такси и поехал к Вамеху. Он оказался дома.

— Входи, входи! — радушно встретил он меня.

Я молча последовал за ним в мастерскую.

— Садись, — указал он на стул.



— Сегодня мне звонила Нино.

Вамех вздрогнул.

— Что... что ей надо? — спросил он, запинаясь.

— Мы приглашены к ней на день рождения.

— Что?.. — Он задумался.

— Пойдете?

— Я? — он бросил на меня какой-то странный взгляд. — Пойду, разумеется, пойду. А ты что, не собираешься?

— Наверное, и я пойду.

Некоторое время мы молчали.

— Ты не знаешь... — тихо проговорил Вамех, — я ведь несколько раз ходил туда, где, как ты сказал, живет Нино... Хотел хоть разок взглянуть на нее... Поговорить... Но она прошла мимо, не узнав меня. А теперь, Боже мой!.. — вырвалось у него.

— Так я пошел!

— Подожди, может, пообедаем вместе? — засуетился Вамех.

— Нет, спасибо...

Я был уже в дверях, когда он вдруг схватил меня за руку.

— Может, пойдём вместе, а?

— Когда встретимся?

— Ну, хотя бы в семь. Мы с Нино будем ждать тебя перед домом.

— Хорошо, — согласился я. — В семь часов я зайду за вами.

В половине восьмого я, Вамех и его дочь стояли перед дверью в квартиру Нино. Я позвонил. Дверь открылась...

Перед нами стояла Нино в серебристом платье до пят.

Квартира оказалась пуста... И картины на стене не было — лишь один стул о трех ножках посреди комнаты.

А у стены стоял со скрипкой в руке красивый мужчина во фраке. Рядом с ним — седобородый старик с блаженной улыбкой на лице. И больше никого.

Нино взяла у нас цветы, унесла их куда-то, вернулась и села на стул.

В ту же минуту мужчина во фраке заиграл на скрипке.

Неожиданно старик преклонил колени перед Нино, обернулся к нам и жестом пригласил нас последовать его примеру. Вамех как подкошенный упал к ногам Нино, мы с дочерью Вамеха невольно повторили то же самое. Не переставая играть, опустился на колени и скрипач.

Старик поднял голову и патетически провозгласил: — Долгие лета тебе, царица!

В это время из кухни вышла девушка, она высоко держала поднос с бокалами, наполненными вином.

Вино оказалось сладким, как нектар.

Вновь зазвучала скрипка.

Нино встала, подошла к каждому из нас и помогла подняться.

Только сейчас я заметил, что стул, на котором сидела Нино, был из слоновой кости, инкрустированной дорогими камнями.

После этого странного ритуала мы вели весьма непринужденную, ничего не значащую беседу, потом Нино выпила за каждого из нас. После этого мы разошлись.

— Что это было? — спросила, недоумевая, дочь художника, когда мы вышли на улицу. — Что это было?.. — повторила она.

— Пройдут годы и ты все поймешь... — ответил Вамех.

— Ты разговариваешь со мной как с ребенком, — нервно возразила дочь. — Я понимаю, что мы оказались свидетелями какой-то мистерии, но не могу понять, что бы это означало.

— Это древнейшая мистерия, — сказал художник с некоторой раздражительностью и поднял голову. В темноте я заметил, как заблестели его глаза, — мистерия поклонения Красоте.

Мы молча продолжили путь.

— Ты давно знаком с той женщиной? — неожиданно спросила художника дочь.

— С какой женщиной?

— С той, у которой мы были... Нино...

— Да... А почему ты спрашиваешь?

— Так... Она смотрела на меня как-то странно.  
Старик промолчал.

— Какая необычная ночь, — продолжала девушка, — мне кажется, что-то изменилось в моей жизни, хотя не понимаю, что могло измениться.

Начались каникулы, и я подумывал, что не плохо было бы поехать на море. Я сидел в своей комнате, когда послышался голос сестры:

— К тебе пришли!

— Кто? — спросил я, недовольный тем, что нарушили мое одиночество.

— Нелли, кто же еще!

Я отложил в сторону ручку и бумагу, встал и открыл дверь.

Еще с порога Нелли, недоумевающая, спросила:

— Что я слышала?! Ты едешь на море без меня?!

Признаться, я растерялся, не зная, что ответить.

— Ты едешь один?

— Да...

— Что случилось?

— Ничего не случилось...

— Может... Может, ты разлюбил меня?

— Не пори чепуху. Неужели я не имею права оставаться наедине с самим собой?

— Имеешь, конечно, но... Но ведь надо и что-то принимать во внимание... — в голосе ее я уловил с трудом сдерживаемые слезы.

— Я хочу быть один! — упрямо повторил я.

Нелли подняла голову и оглядела меня с ног до головы.

— А я что только ни подумала, — проговорила она тихо. — Ну и дуреха же я!..

Встала, взяла свою сумочку и пошла к двери.

Я преградил ей дорогу.

— Вот увидишь, — сказал я, взяв ее за руку, — два месяца пролетят незаметно.

Она усмехнулась.

— Пропусти! — сказала она спокойно, будто бы и не слышала моих слов.

— Ты ведь знаешь, что я люблю тебя! — крикнул я.

— Это так очевидно, — объявила она и повторила: — Пропусти...

— Послушай... — Я пытался говорить спокойно. — Бывает, что и муж с женой отдыхают каждый сам по себе. Что в этом странного?

Она не смотрела на меня.

— Ну хорошо! — сказал я и обнял ее за плечи. — Поговорим, все взвесим и решим, как нам быть.

— Об этом надо было думать раньше, — сказала она, высвобождаясь из моих объятий. — Ты прав и поступаешь благоразумно, это я сумасшедшая... Но ничего... Поумнею.

И выбежала из комнаты.

— Нелли! Подожди! — крикнул я, бросаясь ей вдогонку. Но она успела захлопнуть за собой дверь прихожей.

Спустя два дня я уже лежал на берегу и, прищурившись, смотрел на синюю гладь моря.

Потом я встал, оделся и направился в гостиницу. В номер подниматься не хотелось, я сел в кресло в фойе и огляделся.

Мое внимание привлекла высокая девушка в темных очках. Она сидела в кресле напротив и нервно мяла сигарету.

Я щелкнул зажигалкой и предложил ей огонь.

Она оглядела меня и, закуривая, спросила:

— Из Тбилиси?

Я кивнул.

— А вы?

— Я тоже.

Она сняла очки и положила их на стол. У нее были умные красивые глаза. Чем-то она напоминала Нелли, но была выше, стройнее.

— Играете в пинг-понг? — поинтересовалась она.

— Давно не играл.

— У нас на этаже стоит стол, хотите сразиться?

Я кивнул.

Мы поднялись на второй этаж.

Она принесла из своего номера ракетки и мячик.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Гванца, — ответила она, подавая мячик.

Из трех сыгранных партий я проиграл две.

Мы отложили ракетки и сели на черный кожаный диван.

— Вы здесь один?

— Да.

— Хм... — Она внимательно посмотрела на меня.

— А вы?

— Я отдыхаю с подругой, мы учимся на одном курсе.

С того дня мы с Гванцей вместе ходили на море, вместе гуляли по бульвару, играли в пинг-понг. Даже побывали на гастролях заезжего театра. Гванца казалась мне человеком твердой воли и вместе с тем удивительно нежным созданием. Читатель, вероятно, улыбнется, читая эти строки, ведь прошло всего несколько дней, как я простился с Нелли. Не знаю, как назвать чувство, которое возникло у меня к Гванце, но я понимал, что всей душой, всем существом своим привязался к ней. Подолгу беседуя, мы обнаружили, что у нас много общего. После некоторых раздумий я поведал ей о своих злоключениях. Видели бы вы, какими широко раскрытыми от удивления глазами смотрела она на меня, а потом посоветовала мне убедить себя в том, что это и в самом деле был сон и не вспоминать эту историю никогда, иначе жизнь станет для меня невыносимой. Я пытался следовать ее совету, хотя кошмары прошлого нет-нет да и вспоминались.

А время текло.

Как-то жарким августовским утром мы решили прогуляться по морю на лодке. Заплыли далеко, я отложил весла и лег на дно лодки. Гванца последовала моему примеру и легла рядом. Мы дремали, закрыв глаза. Так мы лежали, вероятно, около часа.

Вдруг на лицо мне упали капли дождя.

Я открыл глаза. Небо стало мрачным, тучи словно поглотили солнце.

— Наверное, пора плыть к берегу, — сказал я.

Гванца как-то странно улыбнулась.

А лодка тем временем всю раскачивалась на волнах.

— Боишься? — спросила Гванца.

Я взялся за весла и повернул лодку к берегу.

Волнение на море усиливалось.

— Удивительно! — воскликнула вдруг Гванца.

— Что тут удивительного?

— А то, что мы убегаем от чего-то... — проговорила она тихо, — а от чего именно — не знаем!

— Ничего удивительного в этом не вижу, — ответил я. — А то, от чего мы убегаем, называется очень просто — опасность.

— Опасность... — повторила она, усмехнувшись.

Тем временем хлынул ливень.

— А до берега все еще далеко, — многозначительно проговорила Гванца.

— Да, далеко, — сказал я, пытаюсь говорить как можно спокойнее. — И все равно мы выйдем на берег.

— Ты хочешь этого? — спросила она тихим голосом.

— Хочу, Гванца.

Взметнувшаяся ввысь волна накрыла нас с головой.

Я изо всех сил налег на весла.

— Может быть, все это безумие? — проговорила Гванца.

— Что?..

— Все это... Наше знакомство, встречи, а теперь вот это... бегство. Ну не молчи же, скажи что-нибудь!

— Слушай, Гванца! Ты удивительная девушка... — Я замолк на мгновение, подыскивая слова. — Я давно хотел сказать тебе... Нет, не сейчас... Сейчас, прошу тебя, дай мне возможность выбраться на берег.

— Ты думаешь на берегу можно что-то изменить?

— Да, Гванца, можно...

— Лучше признайся, что испугался!

— В эти минуты, Гванца, ты мне дорога, как никогда... Дай мне возможность выбраться на берег, — повторил я и вздохнул с облегчением — впереди показался берег. Я взглянул на Гванцу. Она сидела, съежившись, уставившись в одну точку.

Когда мы наконец ступили на берег, я обнял ее, заглянул в широко раскрытые глаза и поцеловал.

После событий, о которых я поведал, что-то изменилось во мне. Я словно открыл для себя Гванцу. На первый взгляд она могла показаться истеричной. Но это не так. Она была сама стихия. Суровая и вместе



с тем удивительно мягкая. Единственное, что несколько раздражало меня, это ее чрезмерная требовательность как к себе, так и к другим. Именно это и рожило в ней гордость, которая порой перерастала в непомерную гордыню. Она требовала от меня поклонения. И в то же время пыталась видеть во мне созданного ее воображением идола. Я чувствовал, что ее идол излишне театрален и лишен простых человеческих качеств... Но знание этого уже ничем не могло мне помочь, ибо я уже подпал под влияние Гванцы и был вынужден играть роль того героя, над которым в душе, признаться, даже посмеивался.

Гванца была проницательна и догадывалась, что я не совсем искренен, и в последнее время была холоднее, чем обычно. Я переживал это, но смягчить ее сердце мне не удалось.

А тем временем пришла пора возвращаться в Тбилиси.

...Мы сидели на длинной скамье в тени елей.

— Тебе не хочется в Тбилиси, Гванца?

— В Тбилиси? — задумавшись, проговорила она.

— Нет, не хочется.

— Да, кстати, ты записала мой телефон?

— Да, записала на всякий случай.

— Как понимать твои слова? — спросил я растерянно.

— Как хочешь, — произнесла она усталым голосом.

— Ты что... хочешь сказать, что...

— Я ничего не хочу сказать... А вообще-то, по моему, чем реже мы будем встречаться, тем лучше.

У меня сжалось сердце.

— Почему, Гванца?!

Она взглянула на меня пристально, потом махнула рукой и сказала:

— Неужели тебе не надоело все это?

— Ты сегодня странная, Гванца.

— Вовсе нет, — ответила она, на миг задумалась. подняла на меня глаза и добавила: — Ты же ничего не знаешь.

— Что я должен знать?

Она помолчала, потом твердым голосом проговорила:

— У меня в Тбилиси есть друг.

Я был застигнут врасплох, но очень скоро взял себя в руки.

— Ну и что, и у меня в Тбилиси был друг.

— У тебя был, — возразила Гванца, — а у меня... у меня он есть, ты понимаешь?

— Выходит, наши встречи, все это... — я не смог говорить дальше.

— Все это безумие. — Она вздохнула.

— Нет, здесь дело в другом, — сказал я. — Скажи, случилось что?

— Да! — воскликнула она раздраженно. — Случилось.

— Что? Что все-таки случилось?

— Неужели ты не понял, что мы с тобой разные люди.

— И что же, разве два разных человека не могут любить друг друга?

— Я не люблю тебя, нет! — бросила она резко и встала.

— Да, но... — я осекся в волнении.

— Не унижайся, — сказала она. — Не надо просить меня, умолять...

Я долго не спускал с нее взгляда, потом поднял руку и...

— Только посмей, — сказала она, и глаза у нее вспыхнули.

В ее взоре я ощутил такое презрение, что невольно опустил руку.

— Так-то лучше, — усмехнулась она и не спеша направилась к гостинице.

На следующее утро я прилетел в Тбилиси. Все оказались дома, кроме отца, который еще не приехал — он отдыхал где-то близ Сухуми.

Дверь открыла сестра.

— Боже, как загорел! — воскликнула она и повисла у меня на шее.

Из соседней комнаты вышла мама.

Мы позавтракали. Я пошел к себе в комнату, прилег на диван.

Я признавал свою вину перед Нелли. Хотел было позвонить, но раздумал, чувствуя, что обманывал я не только ее, но и самого себя. Да и что я мог сказать ей? И все-таки мысль о том, что хорошо было бы позвонить, не выходила у меня из головы. Может, она даже ждет моего звонка? Странно, но после знакомства с Гванцей я впервые подумал о Нелли... Вспомнились наши встречи, беседы, ее мягкий, бархатный голос, глаза, полные укоризны. Позвоню, твердо решил я. Встал, подошел к телефону, набрал знакомый номер.

— Слушаю! — слышался в телефоне голос Нелли.

Я молчал, не в силах найти подходящие слова. Наконец, произнес:

— Здравствуй! Это я.

Я услышал в трубке частое дыхание Нелли, потом она тихо ответила:

— Здравствуй!

— Нелли, я знаю, что виноват перед тобой, — начал я.

— Не надо. Ничего не говори.

— Ты прощаешь меня, Нелли?

— Да...

И тут мне захотелось плакать, Нелли, видимо, поняла мое состояние.

— Что с тобой? — спросила она тревожно.

— Ничего, Нелли. Просто я постарел за это время.

— Знаешь что, я сейчас приду к тебе.

— Да, приходи, — обрадовался я.

В трубке слышались короткие гудки. Я сел на диван и дал волю накопившимся слезам.

Прошел год. И хотя в течение этого времени мы с Нелли были неразлучны, воспоминания о Гванце не покидали меня.

Мы часто навещали Вамеха и его дочь. В то время, как мы вели долгие беседы, она большей частью молчала, но глаза у нее блестели каким-то таинственным светом. Однажды в разговоре она упомянула Нино. Мы с Вамехом в недоумении уставились на нее. Она безмятежно улыбалась.

— Что ты сказала, доченька? — спросил художник.

— Я сегодня встретила на улице Нино.

— Да-а? — насторожился Вамех. — И она узнала тебя?

— Конечно. С ней был скрипач, помните, тот, что играл у нее на дне рождения.

При этих словах у нее зарделись щеки.

Вамех нервно потер руки.

— Доченька, держись от них подальше! — забеспокоился он.

Дочь взглянула на него с удивлением.

— Ты о ком, отец?

— О всех, кого ты видела в тот день!

— Почему? — тихо спросила она.

— Потому что... — Вамех запнулся.

— Отец, я наверное поступила плохо... — проговорила Нино после недолгого молчания, — но... я не знала, что они тебе не по душе... — Она помолчала, потом выпалила скороговоркой: — Я их пригласила.

— Кого?! — вскочил с места художник.

— Нино и скрипача!

Вамех бессильно опустился в кресло.

— Ты понимаешь, что ты натворила?

— Нет... я уже ничего не понимаю, — растерялась девушка. — Разве не ты повел меня к ним?

— Это еще ничего не значит, — сказал Вамех. — Как же все это получилось?

— Я возвращалась из академии с подругами. Вдруг они остановились и стали смотреть на противоположную сторону улицы. Я сначала не поняла, куда они смотрят. Когда же я глянула в ту сторону, то увидела Нино и скрипача. Это была сказочная пара... Скрипач, посмотрев в нашу сторону, что-то шепнул Нино. Та остановилась и с улыбкой посмотрела на нас. Потом поманила нас пальцем. Мы, сами не понимая почему, послушно поплелись к ней. Но она хотела говорить только со мной, и тогда девочки ушли. Я, Нино и скрипач медленно продолжили путь. Я сказала Нино, что дома у нас висит ее портрет, она призналась, что видела его много лет назад. Вот тогда я и пригласил ее к нам, если она хочет посмотреть портрет еще раз. Знаешь, отец, что удивительно — она выглядит такой же, как на портрете, а ведь ты говорил мне, что когда писал ее, ей было двадцать лет. Я извинилась, спроси-

ла, сколько ей лет, и она, смеясь, сказала, что тридцать пять...

Вамех слушал, нахмурившись, наконец спросил хриплым голосом:

— Когда они придут?

Нино взглянула на часы:

— В семь.

Было двадцать минут седьмого.

— Пойду, — сказал я.

— Нет, нет, — заволновался Вамех. — Прошу тебя, не оставляй меня.

Ровно в семь часов раздался звонок в дверь. Вамех волновался, приглашая гостей в дом, но Нино и скрипач держались так, словно были давними друзьями Вамеха, и потому напряженность вскоре спала. Мы повели непринужденный разговор о всякой всячине.

— Да, кстати, — неожиданно сказал скрипач, обращаясь ко мне. — У нас с вами есть общие знакомые.

— Да-а? — удивился я. — Кто же?

— Гванца.

Я вздрогнул.

На какое-то время воцарилось молчание.

— А где ваши картины? — нарушила молчание Нино.

Вамех встал. Гости последовали за ним.

Я же продолжал сидеть, растерянный сообщением скрипача. Вскоре все собрались за столом, и беседа потекла по прежнему руслу.

Мы попросили скрипача сыграть, благо он пришел со своей скрипкой. Я давно не слышал такой превосходной игры, но тем не менее слушал его рассеянно, то и дело вспоминая его слова. Когда же я взглянул на дочь Вамеха, заметил, что она не сводит со скрипача восторженных горящих глаз. Не ускользнуло от моего внимания и то, что прощаясь, скрипач и дочь Вамеха перемолвились словами.

Несколько недель я не навещал Вамеха. Когда же пришел к нему, он лежал в постели, худой и бледный.

— Что с вами? — озабоченно спросил я, садясь на стул перед его кроватью.

— Болен, — сказал он слабым голосом.

— Да, но...

— Ничего серьезного, — прервал он меня, — во всяком случае так говорят врачи. Общая слабость... — Он замолк, потом поднял на меня глаза: — А как ты поживаешь?

— Ничего...

— Как Нелли? — Он улыбнулся.

— Спасибо, хорошо, — сказал я, огляделся и спросил: — А Нино нет дома?

— Нет... Она вышла. — Вамех почему-то покраснел.

— Разве вас можно оставлять без присмотра? — забеспокоился я.

— Она вышла ненадолго, — ответил он мне раздраженно. — К тому же я ведь сказал тебе, у меня не нашли ничего серьезного.

Я промолчал.

— Давайте-ка я пощупаю у вас пульс, — предложил я.

— Это еще зачем?

Я взял его руку, но он вырвал ее и, тяжело дыша, опустил на подушку. Глаза его стали печальными.

— Должен признаться... меня очень беспокоит Нино.

Я взглянул на него с удивлением.

— Во всем виноват этот кривляка.

— Кто?

— Этот проклятый скрипач... — Он закашлялся... — Она день и ночь с ним. — Вамех заложил руки за голову и уставился в одну точку. — Что будет дальше? — вздохнул он. — Я не узнаю ее, так она изменилась.

— Может... — я запнулся.

— Что может?..

— Может, они любят друг друга, — сказал я, вспомнив почему-то Гванцу.

— Нино любит его, это несомненно, — вновь вздохнул Вамех. — Но не думаю, чтоб этот мерзавец любил кого-нибудь, кроме себя. Он бывал у нас несколько раз, этого было достаточно, чтоб я понял, что это

за человек... Но у него это не пройдет, — вдруг вспылывал Вамех. — Я убью его!..

Я видел, как он терзался, и сердце у меня ныло от жалости к нему. Но еще больше страдал я от своей беспомощности — ну чем я мог помочь бедняге?

— Может. повидашь его? — неожиданно предложил он.

Я взглянул на него с удивлением.

— Ничего странного... Мы ведь друзья...

— И что я должен сказать ему?

— Что хочешь... Пусть только он оставит в покое мою дочь!..

— Где он живет? — спросил я после довольно долгой паузы.

Вамех назвал адрес.

— Повидашь? — спросил он, когда я встал.

— Да, — сказал я твердо. — Завтра же.

— Передай, что если он не оставит в покое мою дочь, я убью его! — повторил Вамех. И по тому, как он произнес эти слова, я понял, что он может убить скрипача.

На следующий день, где-то около шести часов вечера я отыскал дом скрипача.

Дверь открыл он сам. Он был в халате и глаза у него были заспанные.

— А, это вы? — пробормотал он. — Входите.

Мы вошли в комнату.

— Садитесь сюда, указал он на кресло.

Я сел.

Скрипач вышел в соседнюю комнату, видимо, спальню. Оттуда послышался горячий шепот, потом женщина громко засмеялась. Спустя минуту скрипач вышел ко мне, сел в кресло напротив и закурил.

— Перейду прямо к делу, — сказал я.

— Я слушаю вас, — скрипач был невозмутимо спокоен.

— Вы, вероятно, знаете, что я друг Вамеха... Так вот... я пришел к вам по его просьбе.

Скрипач бросил на меня быстрый взгляд и опустил глаза.

— Что скажете? — продолжал я. — Вы ведь догадываетесь, о чем пойдет речь.

— Разумеется, — пожал он плечами. — Но любовь, как мне кажется, у нас не запрещена.

— Вы ее позорите.

— Я вас не понимаю...

— Какие у вас отношения?

И тут он смутился.

— Просто-напросто мы друзья.

— Да бросьте вы! За кого вы меня принимаете! — вспылил я.

— Это кто здесь разошелся? — услышал я знакомый голос.

В дверях спальни стояла Гванца. Я тотчас пришел в себя.

— А, это ты? — равнодушно и спокойно произнес я. — Привет! — я чуть привстал с кресла. — У нас тут серьезный разговор. Оставьте нас на время, дорогая.

Теперь пришло время удивляться Гванце.

— Как?.. Значит... — она запнулась.

— Да, Гванца, оставь нас, — повторил скрипач.

Гванца молча вернулась в спальню.

— Почему вы взялись за столь щепетильное дело?.. — пожимая плечами, спросил скрипач.

— Я, кажется, сказал вам, что я друг Вамеха... — спокойно ответил я и добавил: — Представьте себе, я выяснил для себя то, что собирался выяснить.

— Да-а? — заинтересовался он. — Что именно?

— То, что вы мерзавец!

Он было вспыхнул, но сдержался и процедил сквозь зубы:

— Не зарывайтесь!.. Чего вы от меня требуете?

— Вы не должны встречаться с Нино!

Он ответил не сразу.

— А если я не последую вашему совету?

— Тогда вините себя в том, что произойдет!

— Я шучу, — заставил он себя улыбнуться. — А с Нино... Если бы вы даже не предупредили меня, я все равно бы больше не встречался.

— Почему?

— Я уезжаю! — сказал он и указал на угол комнаты.

Только сейчас я заметил сложенные в углу чемоданы.



— Это очень хорошо, что вы уезжаете... куда? Все же

— Во всяком случае несколько лет меня не будет в Тбилиси.

— Это прекрасно! — повторил я.

— Да, так будет лучше для всех. Мы с Гванцей уезжаем... надолго.

— С Гванцей?! Что же, счастливого пути.

Я встал. Скрипач проводил меня. Как мне хотелось взглянуть на Гванцу, взглянуть в последний раз, но она так и не вышла из комнаты.

— У нас гостя, — сказала мне сестра.

— Кто? — спросил я.

— Нелли.

Я вошел в комнату.

Нелли сидела на диване и слушала музыку.

У меня почему-то сжалось сердце. Я подошел к ней и обнял.

Она взглянула на меня, улыбнулась.

— Моя хорошая, моя верная Нелли, — сказал я и сел рядом.

— А другие что, изменили тебе? — засмеялась она.

— О-о!

— И потому ты со мной?

— Не говори глупости!.. Да, а тебе очень идет это платье.

— Ой-ой-ой! — вновь засмеялась она.

Я привлек ее к себе и заглянул в глаза.

— Зеркало! Сверкающее зеркало! — я слегка коснулся ее губ.

— Что?

— Глаза... Твои глаза!

— Аа...

— Нелли, я долго думал...

— И что? — спросила она, поскольку я замолчал.

— То, что я скажу тебе, я решил давно... — Я вновь замолк.

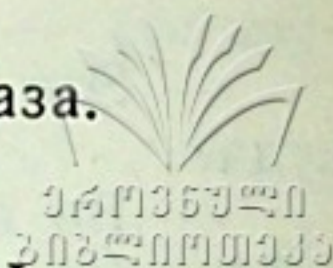
— Ты выскажешься наконец?!

— Нелли, выходи за меня замуж!

Она от удивления широко раскрыла глаза, молча убрала мои руки.

— Я жду твоего ответа.

Она подняла на меня полные слез глаза.  
— Разве ты не знаешь ответа?



Прошло полгода с того дня, как мы с Нелли поженились. Мы ждали ребенка. Несколько раз я навещал Вамеха. Нино всегда бывала дома. Она очень изменилась, судя по всему, ей не легко давалась разлука со скрипачом.

Однажды, когда я пришел к ним, дверь оказалась открытой. В прихожей стоял незнакомый мне мужчина.

— Что случилось? — спросил я, хотя уже догадался, в чем дело.

Мужчина кивнул в сторону средней комнаты.

— Вамех...

Из комнаты донесся сдержанный плач Нино.

...На похоронах Вамеха было много народу. Какое-то время гроб несли на руках, потом поставили на машину, все разместились по автобусам и легковым машинам, и процессия направилась к кладбищу.

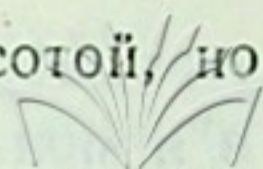
Мы шли по аллее. Мимо прошла женщина, обернулась и... каково было мое удивление, когда я узнал в ней Нино! Я так и застыл на месте. А Нино заговорщически подмигнула мне и вместе с незнакомым мне мужчиной пошла дальше.

Над могилой друзья Вамеха выступили с прощальными словами. Дочь, упав на колени перед гробом, тихо плакала.

Вдруг вновь появилась Нино.

— Человек, с которым мы сейчас прощаемся, — сказала она, — служил искусству... — Помолчав, она продолжила: — Все знают, какой это был добрый и сердечный человек... И все же не думаю, чтоб кто-либо из присутствующих знал его лучше меня... Он всем своим существом поклонялся красоте... Красоте, которая во всем и повсюду, иногда она видна невооруженным глазом, но чаще незрима и непознаваема, как бы велик ни был талант художника. И все-таки было бы несправедливо не склонить голову перед тем огнем, который вспыхивал в художнике в миг соприкосновения с прекрасным. Не многим выпало подобное счастье... Так преклоним колени перед человеком, которому вы-

пало счастье не только соприкоснуться с Красотой, но и уверовать в ее всемогущество.



ЭЛНННННН

Домой мы возвращались пешком. Нелли что-то говорила мне, но я не слушал ее, все думал о словах Нино.

— Ты слушаешь?.. — спросила Нелли.

Я остановился.

— Что с тобой? — спросила она.

— Ничего... Я думал о другом.

— Ты прочел записку?

— Какую записку? — удивился я.

— Которая у тебя в кармане.

И в самом деле, в кармане сорочки я обнаружил какую-то бумажку.

Я раскрыл ее и прочитал:

«Уезжаю. Устраиваю прощальный вечер. Приходи в восемь часов. Нино».

— Да но... — произнес я растерянно.

— Записку положила тебе в карман калбатони Нино.

— Когда же?

— Неужели ты не заметил?

Я покачал головой.

— Странно... — сказала Нелли. — Она смотрела тебе прямо в глаза.

В восемь часов мы с Нелли были у Нино. Среди гостей оказались знакомые, был и Доброжелатель, встреча с которым не сулила мне ничего хорошего. Удивило и присутствие дочери Вамеха. Позже я узнал, что Нино долго уговаривала ее прийти. Был здесь и Мордан в пестром костюме. Во главе стола сидела Нино. Рядом — дочь Вамеха.

Прошло почти два часа... Мы все еще сидели за столом и никто не заикнулся об отъезде Нино.

Неожиданно погас свет. Когда он вновь зажегся, я увидел, что чья-то невидимая рука убрала со стола бутылки и тарелки, на столе, покрытом красным бархатом, горело три свечи в серебряных подсвечниках.

Свет снова погас.

Горели только свечи.

Нино встала и высоко подняла руку с серебряной чашей, в которой горел огонь.

— Друзья! Все вы знаете или догадываетесь, кто я и мои друзья. Но чтоб вы поняли все до конца, скажу, что повелеваю здесь только я. Я пригласила вас, чтоб, во-первых, извиниться перед теми, кому я принесла мучения. — Мне показалось, что она взглянула на меня. — Во-вторых, чтоб сказать, что Красота вечна! А потому будь благословенна новая королева! — воскликнула она, сняла с головы узенький золотой венец и возложила его на голову дочери Вамеха. — Носи этот венец до той поры, пока у тебя не появится достойная наследница — кровь от крови и плоть от плоти твоей.

Дочь художника взглянула на нее с удивлением, но Нино не обратила на это внимание.

— Так вот, друзья мои, я уезжаю!

Она пригубила чашу с огнем и... исчезла... Лишь легкая струйка дыма свидетельствовала о том, что она была в этой комнате.

Мы сидели не в силах вымолвить слово.

Дочь Вамеха, молчавшая до сих пор, встала и тихо, но твердо произнесла:

— Итак, прежняя королева покинула нас, господа!

Мы встали... Некоторое время стояли молча... Потом... Не знаю, какая сила надавила мне на плечи и заставила преклонить колени. Когда я огляделся, увидел, что на коленях стояли все... Даже Доброжелатель.

А на покрытом красным бархатом столе стояла с возведенными ввысь руками гордая, как само совершенство, нетленная и в то же время быстротечная, как само время, Красота.

Перевод Динары ЖОНДАХСАЗОВОЙ

## Тост в честь Вольтера

Прежде чем завершиться, нечто должно начаться, не так ли? Так! — скажете вы мне, и тут я бы с вами поспорил, но сейчас мне не до этого. Да и стоит ли спорить, переубеждать кого-то в столь банальной истине, что прежде, чем завершиться, нечто должно начаться? Нет, конечно, нет! Это — неоспоримая догма для обывателя, и... в конце концов, я тоже обыватель в каком-то смысле этого слова, ибо все на свете относительно...

Согласен... жизнь должна зародиться, дабы затем потухнуть, любви надлежит начаться, чтобы прийти к концу, созерцание прекрасного должно иметь начало, тогда оно обретет и конец... и т. д. и т. п.

Но, по-моему, есть явления, уходящие в ничто, но не имевшие начала. К примеру, переход в никуда из ничего... из беспамятства в беспамятство, из смерти в смерть...

Пусть читатель не подумает, что я — казуист и пытаюсь вскружить ему голову. Как я могу подумать такое, зная, с каким образованным человеком имею дело. С человеком, который догадывается, что теперь я сам запутался и что поможет мне только одно: если кто-то вытащит меня из серебристого озера повествования, в которое я нырнул.

О, какой приятной была бы наша встреча! Тем паще, если спаситель мой — дама. Мы стали бы беседовать о Боге, о любви и красоте... И я уже не был бы циником... Я полюбил бы ее истинно, а, узнав, скажем, что дама постится, отказался бы наотрез от мяса!

Все случилось именно так, уважаемые!.. Вот я чувствую, как чьи-то сильные длинные пальцы ухватили меня за волосы и... вытащили из книги!.. Похоже, что женщина... Нет, я ошибся! Высокий, худой человек в очках... типичный интеллигент. Он тяжело дышит. «Ты над кем это потешаешься?!» — спрашивает. Что мне теперь делать? Остается лишь надеяться на то, что он хотя бы не постится.

— Дайте мне, пожалуйста, кусочек жареного мяса! — говорю я ему.

Интеллигент смеется, как аристократ, уходит на кухню и, вернувшись, протягивает мне (разумеется, на тарелке) кусок мяса с хлебом.

— Как вам удалось вытащить меня из воды так, чтоб остаться при этом сухим?

— Руки длинные, вот и дотянулся... — говорит он, улыбаясь.

— В Бога верите? — спрашиваю.

— Верю, — отвечает он коротко.

— Расскажите мне что-нибудь о нем!

— Человек не должен беспокоить Всевышнего своими беседами!

— Почему?

Он смотрит на меня растерянно. «Но кто ж <sup>начи</sup>нает разговор с конца, моя Епистинья!» А по <sup>всему</sup> видно, что фраза эта — заключительная в его <sup>мышлении</sup>. Тут уж я не растерялся, — он ведь закончил, <sup>не</sup>начав!

— Благодарю вас, сударь! — говорю я и, вытянув руки вперед, снова ныряю в книгу.

Таким вот образом, мой читатель. Ты завершил нашу беседу, не потрудившись начать ее. И если по-прежнему считаешь меня казуистом, то знай, что так оно и есть. Да, я казуист! Ну и что? Разве это достойно хулы? Разве казуизм лишен своей логики — железной, неоспоримой?

О, великий Вольтер! О, предок с холодным, блистательным интеллектом! Ведь и ты был казуистом. Но твой магический казуизм вкуче с несокрушимой личной логикой заморозил-таки цивилизованную Европу!

«Что ни делается, все к лучшему», — говорит твой герой в то время, когда он гниет и разлагается... Похоже и ты, старик, стоял в ту пору на его позиции!

Но это, кажется, уже риторизм! Так давайте ж сюда, поближе, махонькие ангелочки с золотыми скрипочками! Сыграем на наших крошечных инструментах, преклонив колена на зеленые листья, что скользят по серебряной глади озера! Янтарным пуншем — за здравие господина Вольтера и нашего дорогого читателя! Того, что желает спасти нас! Но... разве мы обречены? А?

Впрочем... стремитесь, стремитесь спасти нас!

И если тут, на серебряном озере, вам понравится, то мы поднесем вам стаканчик вина и кусочек жареного мяса...

Посидим же, порадуемся!

Но... тосты вам надлежит заканчивать, не начиная их. Так интереснее!

Итак, уважаемые, кончаем... кончаем рассказ, который и не начинали! Если все это покажется вам вздором, не казните строго, ибо в конце концов мы желали развлечь вас... Ежели нам это не удалось, то и я, и мои ангелочки со скрипочками уйдем от вас еще дальше, еще глубже... на дно серебряного озера. Мы обоснуемся там и, пожалуй, там же и закончим наш волшебный пир, который, подобно этому рассказу, никогда... не... начинался...

Перевод Элеоноры КАВЕЛАДЗЕ

Северин МОСИДЗЕ

## „Века уж дорисуют, видно...“

Время накладывает свой отпечаток на каждую ленинскую годовщину. На этот раз 120-летие со дня рождения В. И. Ленина совпало с процессом перестройки в нашей стране. Масштабы и глубина преобразований, острота и сложность вставших сейчас перед всеми нами проблем обязывают по-новому осмыслить его идейное наследие.

Особое внимание заслуживает тот короткий отрезок истории советского государства, когда страной руководил Ленин. Этот период дает возможность лучше узнать самого Владимира Ильича как лидера партии и главу правительства, а также высветить определяющие черты этой личности.

В условиях перестройки и демократизации, нового мышления и гласности в какой-то мере сама оценка его деятельности и общественно-политической жизни страны того времени весьма актуальны.

Крайне враждебное отношение к портретам Ленина, к его памятникам в странах социализма, да и у нас в Союзе заставляет задуматься. В Тбилиси в филиале Центрального музея В. И. Ленина, который ныне называется Музеем новейшей истории Грузии, часто задают вопросы острые и даже злобные. Нередко прямо спрашивают: «Были ли ошибки у Ленина?», «Останется ли он вождем народа?», «Будет ли отмечаться его юбилей?» И это естественно, так как время вносит изменения в представления людей.

Родоначальник советской поэтической «ленинианы» Н. Полетаев в одном из первых стихотворений, посвященных Владимиру Ильичу, писал:

**Портретов Ленина  
не видно.  
Знакомых не было и нет!  
Века уж дорисуют, видно,  
Недорисованный  
портрет...**

Века, надо полагать, действительно добавят новые мазки, характерные штрихи к его портрету. Что же касается десятилетий, минувших со дня смерти В. И. Ленина, то все эти годы его изображали исключительно одной краской. В результате была создана и канонизирована своеобразная икона, которой следовало поклоняться каждому «правоверному». Как это могло случиться? И что общего у этого канонизированного портрета с живым Ильичем, тем более, что краска, как правило, преобладала одна — сусальная. Знакомство народа с ленинским портретом допускалось лишь через посредство избранных иконописцев. С этого приукрашенного изображения в течение десятилетий на нас смотрел лик ясновидящего, не ведавшего сомнений, никогда не ошибавшегося, всегда, чуть ли не с гимназической скамьи, знавшего, какой путь правильный. Да, Ленин был великим философом, революционером, государственным деятелем. Но в первую очередь он был человеком, со своими слабостями, пристрастиями, который, как и всякий другой, ошибался, делал порой неверные шаги, мучительно искал выхода из той или иной ситуации. И, кстати, сам первый признавался в своих ошибках и заблуждениях.

Для В. И. Ленина вообще характерен радикальный поворот во взглядах. Все вопросы он рассматривал в связи с конкретной обстановкой, с позиции политического реализма. Такое было и в отношении к социализму, аграрному (крестьянскому) вопросу, к проблеме мира и т. д. В «Апрельских тезисах», например, им выдвинут лозунг «Да здравствует мировая социалистическая революция!», но по истечении всего 3—4 лет происходит радикальный поворот не только в понимании им мировой социалистической революции, но и в его взглядах на социализм. Взять хотя бы 1921 год, когда страна от военного коммунизма повернулась к НЭПу, к много-



образным формам социалистического строительства, основан-  
ным на «личном интересе», на соединении индивидуальной  
выгоды с общественной пользой, или когда от полной национа-  
лизации перешли на курс возрождения мелкой промыш-  
ленности, свободной торговли и допущения частных пред-  
приятий, смешанных фирм и концессий. Радикальный пово-  
рот от революционного максимализма, декретирования социа-  
лизма сверху к учету объективной логики развития, реального  
уровня сознания масс был новым качеством и в теоретиче-  
ских взглядах на социализм, и в самой практике его сози-  
дания.

А вопрос аграрный, крестьянский? 25 октября 1917 го-  
да у большевиков — собственная аграрная программа. Одна-  
ко в знаменитом Декрете о земле Владимир Ильич берет за  
основу крестьянские указы, отвечающие в целом эсеровской  
программе. Спрашивается, почему? Да потому, что народная  
власть, как он говорил, «не хотела навязывать своей воли  
народу, а стремилась идти навстречу ей».

И это оправдало себя. Крестьянские массы пошли на-  
встречу большевикам.

А какая отчаянная борьба велась, к примеру, вокруг  
Брестского мира. «Левые» коммунисты готовы были отстоять  
«чистоту» революционной мысли даже ценой гибели Советской  
власти. Ленин пошел на тяжелый, по его выражению, «похаб-  
ный» мир, чтобы, уступив пространство, выиграть время. И  
время было выиграно, Советская власть устояла. «Никакой  
поддержки Временному правительству!» — заявил он в «Ап-  
рельских тезисах», где выдвинуты и основные экономические  
требования, которые ставили задачи по национализации всех  
земель (конфискации помещичьих земель) и объединению  
банков. Переход всех этих земель, фабрик, заводов, желез-  
ных дорог и банков в распоряжение государства означал, что  
тотальным владельцем средств производства и культурного  
строительства становилось само государство. А это было по-  
хоже больше на госкапитализм нежели на социализм.

В ленинской работе «Задачи пролетариата» рассмотрен  
вопрос о диктатуре пролетариата как государственной форме  
перехода от капитализма к социализму. Вместо «парламент-  
ской республики» теоретическим принципом его объявлена  
«диктатура пролетариата», конкретной же формой диктатуры  
была признана «советская республика». Все это во многом  
углубило разногласие, возникшее в социал-демократическом  
движении. Вспомним беседу В. И. Ленина с председателем

петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов К. Чхеидзе 3-го апреля 1917 года. Как лидер социал-демократической партии и представитель власти, он встретил Владимира Ильича на Финляндском вокзале, где, обратившись к нему с речью, старался убедить его отказаться от «большевистской линии борьбы». Главная задача революционной демократии, — утверждал К. Чхеидзе, — защита нашей революции от посягательств. Для этой цели необходимо не разделение, а наоборот, объединение всех демократических сил. В. И. Ленин не обратил внимания на его слова, смотрел в потолок красивого зала, а затем, выходя из здания вокзала, произнес речь перед солдатами, матросами и рабочими. «Революция, которую вы совершили, положила основу новой эпохе, — сказал он. — Да здравствует мировая социалистическая революция!»

Так проявились совершенно разные концепции по вопросам развития февральской революции 1917 года во взглядах В. И. Ленина и К. Чхеидзе.

В работе «Задачи пролетариата в нашей революции» Владимир Ильич вновь возвращается к национальному вопросу. И снова выдвигает требование о праве «свободного отделения» малых (угнетенных) наций от империи, ибо, как он отметил, всякое заявление, декларация и манифест об отказе от аннексии — являются либо мелкобуржуазными пожеланиями, либо обыкновенным обманом со стороны буржуазии.

Но рядом с этими его словами выдвигаются такие программные задачи, которые вообще отвергают и отклоняют «свободу отделения». В. И. Ленин указывает: «Пролетарская партия стремится к созданию возможно более крупного государства, ибо это выгодно для трудящихся». Далее он пишет: «Партия стремится к сближению и дальнейшему слиянию наций» (см. ПСС, т. 31, с. 167).

Совершенно непонятно, почему выгодно пролетариату иметь большое государство, а тем более слияние наций, что в конце концов означает гибель. Естественно рождается вопрос, каково значение борьбы угнетенных наций против царского самодержавия, если они вновь будут обречены на гибель и исчезновение.

Радикальный поворот во взглядах у Владимира Ильича ясно прослеживается и в вопросах национальной политики. Так, в 1917 году в «Декларации прав народов России» четко определяется право народов на самоопределение вплоть до отделения, а в 1919—1920 годах в плане ГОЭЛРО республики Закавказья взяты, учтены полностью и всецело. Это

было еще тогда, когда они оставались самостоятельными. В частности, Грузия являлась отдельной демократической республикой, имевшей дипломатический договор с Советской Россией.

Радикальный поворот во взглядах В. И. Ленина наблюдается и в последующих действиях в отношении Грузии. Так, составляя проект постановления Пленума ЦК РКП(б) о Грузии в январе 1921 года, он поручает Наркому иностранных дел «оттягивать разрыв с Грузией, систематически собирая точный материал по поводу нарушения ею договора», запросить Кавфронт о том, насколько подготовлены наличные военные силы на случай немедленной или близкой войны с Грузией, дать директиву РВС республики и Кавфронту готовиться на случай необходимости войны с Грузией.

Далее дает директиву Высшему Совету по железнодорожным перевозкам при СНК сделать в кратчайший срок доклад о возможности увеличения подвоза войск на Кавказ и в пределах Кавказа (см. ПСС, т. 54, с. 437).

Из всего этого видно, что Советская Россия готовилась ввести войска в Грузию и аннексировать ее. Ровно через месяц 25 февраля 1921 года XI армия овладела столицей Грузии, и Серго Орджоникидзе известил Ленина и Сталина телеграммой из Баку — «Над Тифлисом реет Красное знамя»...

После такого акта, то есть военного захвата Грузии, Ленин посылает известные письма коммунистам Грузии, в которых советует проявлять уступчивость и особый такт по отношению к грузинской интеллигенции, мелкой буржуазии, учитывать особенности края, не повторять русского шаблона и т. д.

Он разработал целую систему мер по использованию ресурсов края, развития промышленности, орошения земель, строительства электростанций и т. п.

Как видно из приведенных выше фактов, для Владимира Ильича были характерны вот такие резкие повороты во взглядах, переход от одной крайности к другой. Но когда он ошибался, открыто признавался в этом и сожалел. Таким знали Ленина его современники.

Но такого живого Ильича мы напрасно будем искать в доходивших до народа биографиях, воспоминаниях, трудах. Предназначавшаяся для нас с вами литература о Ленине — это, как правило, сплошная апологетика. В ней зачастую отсутствует достоверный анализ его жизни и деятельности. Более того, дело дошло до таких крайностей, когда каждая ле-

нинская строка, каждое его слово стали считаться истиной в последней инстанции, вне зависимости от того, когда и при каких обстоятельствах они были сказаны. Надо ли говорить о том, какой огромный ущерб был нанесен подобным «богостроительством» его идеям...

К главным «богостроителям», видимо, следует причислить Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, других деятелей того времени.

Необходимо отметить, что каждый из них приложил руку к этому, хотя больше всех преуспел тут Сталин.

Славословие началось еще при жизни Ленина, несмотря на его крайне отрицательное к этому отношение. Уже в день ленинского пятидесятилетия на торжественном вечере, на который сам он, кстати, не пришел, чтобы не выслушивать комплименты, его соратники начинают соревноваться в эпитетах — великий, гениальный, стратег, вождь и так далее. Сравнивая Ленина с машинистом локомотива истории, Зиновьев, к примеру, говорил: «Зорок его глаз и рука тверда, рука его не поколеблется ни на одну секунду, даже при самых крутых поворотах». А вот несколько лозунгов Московского комитета партии, с которыми он обратился к трудящимся в день кончины Ильича: «Дело Ленина переживет тысячелетия», «Ленин — солнце грядущего» и, наконец, совсем сомнительный и двусмысленный: «Могила Ленина — колыбель свободы человечества».

Причастны к созданию религиозно-мистического образа Ленина и литераторы, и в первую очередь, Маяковский. Его известные строки «Живее всех живых», «Говорим партия — подразумеваем Ленин» стали помимо воли самого поэта расхожими стереотипами, заслонившими живой облик Владимира Ильича. И действительно, все мы прекрасно знаем, что происходит, когда человек объявляется «солнцем» или приравнивается к многомиллионной партии. Так что, истоки культа личности Сталина, думается, следует искать и в ленинском культе, возникшем, правда, против воли Ильича. Ведь те же эпитеты услужливое окружение преподнесло впоследствии «вождю всех времен и народов». И это было логично, ведь если «Сталин — это Ленин сегодня», значит он «брат-близнец» партии. Отождествление всей партии с одним-единственным вождем и привело, на мой взгляд, к тем деформациям социализма, которые пытается устранить начатая в нашей стране перестройка.

Сейчас много говорят и пишут о якобы упущенной аль-

тернативе сталинскому диктату. Как известно, Ленин в своем «завещании» предлагал переместить Сталина с поста генсека, заменив его более «лояльным», менее «грубым» и «капризным» работником. Игнорирование этой ленинской воли, по мнению многих историков и публицистов, и привело к жестокой сталинской диктатуре, к всевластию командно-бюрократической системы, ко всем тем преступлениям и злоупотреблениям, которыми были отмечены не только сталинская эпоха, но и последовавшие за ней периоды хрущевского десятилетия и почти двадцатилетнего брежневского «развитого социализма». Были ли в действительности альтернативы и кто персонально мог заменить Сталина у руля нашей страны?

Политические альтернативы командно-бюрократической системе, конечно, существовали. И это, в первую очередь, знаменитый ленинский кооперативный план. Ведь и Ленин к нему приходит не сразу, а после провала «военного коммунизма», после кронштадтского мятежа. К сожалению, Владимир Ильич не успел завершить и всесторонне обосновать свое учение о кооперации, свой новый, рожденный в муках, ошибках и отступлениях подход к строительству социализма. Для того, чтобы довершить его, нужны были деятели ленинского масштаба, а такие среди наследников Ленина, увы, отсутствовали. Или же все эти проблемы следовало решать коллективным разумом партии. Но это, как известно, сделано не было.

Что же касается вопроса, кто персонально мог бы претендовать на место вождя, то, как говорится, свято место пусто не бывает.

Ленин в своем «завещании» дает политическую характеристику только шести своим соратникам — Сталину, Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Бухарину и Пятакову. Поэтому разговор об альтернативной фигуре, видимо, следует ограничить этим списком. При этом «выдающимися вождями современного ЦК» названы только два человека: Сталин и Троцкий. И тут же в упрек Троцкому поставлена не такая «мелочь», как «грубость», «капризность», а «небольшевизм». «Октябрьский эпизод», то есть штрейкбрехерство Зиновьева и Каменева накануне революции Ленин называет «не случайными», что же касается «любимца партии» Бухарина, то он назван марксистом «без диалектики». Говоря же о Пятакове, Владимир Ильич не считал возможным на него «положиться в серьезном политическом вопросе».

Но вернемся к «наследникам». Троцкий? Но ведь немало уже было написано о том, что Сталин на практике осущест-

вил план Троцкого в части сверхиндустриализации, сплошной коллективизации, «огосударствления» профсоюзов. Зиновьев и Каменев? Как доказывают документы, эти два лидера в своей политической игре были готовы на союз с кем угодно, на принятие любой программы, только бы удержаться на «плаву». Со Сталиным против Троцкого, с Троцким против Сталина, они шаг за шагом спускались все ниже и ниже, пока не оказались в подвалах Лубянки. В письмах, которые Зиновьев чуть ли не ежедневно посылал Сталину из заключения, он кается во всех существующих и несуществующих грехах, пытается разжалобить своего бывшего политического партнера, пишет, что «нет того требования, которое он не выполнил бы» для того, чтобы доказать свою преданность Сталину. Но тщетно. Игра сыграна. Да и разжалобить Сталина — дело далеко не простое.

Характерно, что примерно то же самое пишет и Пятаков, он, по его словам, «готов умереть за Сталина». А незадолго до ареста обращается к Ежову с чудовищным предложением «лично расстрелять всех приговоренных по процессу, в том числе и бывшую жену», арестованную ранее. Вот таков был политический и моральный облик тех, кто остался на капитанском мостике после Ленина.

Несколько слов о Бухарине, план которого действительно мог стать альтернативным и к идеям которого мы возвращаемся сегодня в ходе перестройки. Но, увы, этот план, исходящий из ленинских посылок, не был поддержан большинством, да и сам Бухарин затем от него отказался. Вспомним, кроме того, что в своем посмертном письме будущим руководителям партии он писал, что последние десять лет у него «не было и тени расхождения со Сталиным».

Сегодня можно только гадать, как повел бы себя тот или иной «наследник» в обстановке практически бесконтрольной власти.

Вообще вопрос о преемственности, о «продолжателях» дела Ленина я бы рассматривал в двух плоскостях. С одной стороны — триумф Ленина, состоящий в том, что рожденный его гением Великий Октябрь действительно стал поворотной, этапной вехой для всего человечества. Можно соглашаться или не соглашаться с Лениным, но жить по-старому после него уже нельзя. И это на протяжении всех послеленинских десятилетий мы ясно видим на примере не только нашей страны, но и всего мира.

Трагедия же в том, что Ленин намного опередил свое вре-

мя. Ни почва достаточно не созрела, особенно в нашей стране, ни сознание людей еще не было готово, да и с соратниками, как мы видели, не очень-то повезло. Каждый из них, даже самый талантливый, самый выдающийся был на голову ниже Ильича. Да и мог ли обычный смертный соизмерить уготованный ему земной срок с теми гигантскими, поистине глобальными планами, которые рождал его мозг! Сколько замыслов осталось нереализованными, сколько идей незавершенными! Уже смертельно больной Владимир Ильич продолжает работать, ищет выход из сложных ситуаций, с горечью признает свои ошибки и заблуждения.

Икона, созданная впоследствии, проста и однозначна. Но сам Ленин сложен и многогранен. Вспомним его решительный и смелый, в глазах некоторых фанатиков даже граничащий с предательством поворот к новой экономической политике. Вспомним его план построения подлинного Союза народов, в конечном счете выхолощенный Сталиным и его окружением. Вспомним, наконец, его реакцию во время так называемого «грузинского инцидента», его беспощадную критику Орджоникидзе, позволившего себе «рукоприкладство», и поддержавших его Сталина и Дзержинского, его убийственную характеристику великорусского шовинизма...

Но такой Ленин не нужен был нарождающейся командно-административной системе. К своим нуждам она приспособила другого Ленина — ортодоксального, не идущего ни на какие компромиссы. Ленина экстремальных ситуаций.

Впрочем, подобное уже случалось в истории. Позволю себе такую аналогию: несут ли родоначальники христианства, проповедовавшие любовь к ближнему, ответственность за костры средневековой цивилизации?

Сравнение с христианством как нельзя кстати. Памятники Ленину, его изображения, портреты стали неременной деталью нашего быта. Да и многочисленные филиалы музея В. И. Ленина, в частности, наш, тбилисский, не что иное, как храм, в благоговейной тиши которого надлежит мысленно прикоснуться к «божеству»...

В прошлом было так. Но приходит время заново познавать Ленина, раскрывать его во всех гранях, извлекать из его учения то, что должно помочь в колоссальной работе по обновлению всех сторон нашей жизни сегодня. Я имею в виду ленинскую стратегию и тактику политической борьбы, его науку побеждать... И вместе с тем умение идти на разумные компромиссы, отступать, когда это надо, отойти, чтобы, пе-

регруппировав силы, снова двинуться вперед. Это, наконец, ленинская идея свободного содружества народов, к практической реализации которой мы приступили.

Теперь что касается музея. Он не только пополнился новыми, еще вчера совершенно секретными экспонатами и материалами, но и становится, по сути дела, дискуссионным клубом, центром общественно-политической работы, где идут жаркие споры, скрещиваются мнения, высказываются диаметрально противоположные взгляды. И мы это всячески поощряем, ибо только в споре, только в сопоставлении, как известно, рождается истина.

Появились у нас и новые разделы. Так, отдельным блоком выставлены материалы о Грузии 1918—1921 годов: договор между Советской Россией и Грузией, Конституция Грузинской Демократической Республики и гимн... Тут же копии ленинских документов, касающихся Грузии, телеграммы в адрес Орджоникидзе с категорическим запретом «самоопределять Грузию».

Не только рассказать о прошлом, но и увязать его с сегодняшним днем страны — вот в чем наша задача. Возьмем, например, новую экспозицию «Ленин как депутат», всесторонне раскрывающую проблемы демократизации нашего общества, рождения советского парламентаризма. В зале партбилета в связи с дискуссией, начатой на страницах «Правды», выставлена разнообразная литература по Уставу партии. У этого стенда идут горячие споры по проблемам, волнующим не только молодежь, но и ветеранов партии, ученых-историков.

«Века уж дорисуют, видно...» — сказал поэт. Согласен я. Но почему бы и нам в меру наших сил не наносить на «недорисованный портрет» мазки свежей живой краски, избавлять его от ретуши фальсификаторов истории и современности.





Рэм ДАВИДОВ

## Из газовой камеры—в бессмертие

Природа наделила Григола (Григория) Перадзе даром поэта и философа, теолога и лингвиста, этнографа и публициста, историка и критика. В истории литературы немного примеров, когда пятнадцатилетний подросток печатается в «большой печати», а в двадцатилетнем возрасте издает монографию об истории древнегрузинской письменности. К сожалению, имя Григола Перадзе мало что может сказать нашему нынешнему молодому поколению. Краткую биографическую справку о Перадзе можно прочесть в грузинской советской энциклопедии. И, пожалуй, все! В то время как в Германии, Австрии, Франции, Англии, Италии, Польше, Греции о нем созданы монографии, статьи, изданы брошюры, а на здании Польского университета в Варшаве на мемориальной доске среди фамилий профессоров, погибших в борьбе с германским фашизмом, выбито и имя Григола Перадзе.

Все это — не формальная дань памяти борца за свободу и справедливость, памяти ученого и архимандрита, в сан которого был посвящен Перадзе, а свидетельство глубокого уважения и признательности миллионов его почитателей.

Листая пожелтевшие от времени страницы «Джвари вазиса» («Крест из лозы») до второй мировой войны, издания, в которых публиковались произведения Г. Перадзе, не перестаешь удивляться работоспособности ученого, широте его взглядов, интересов, академической подготовке в самых разных областях науки и культуры.

...Ганс Шванцгрубер, эсэсовский офицер, создатель и ко-

мендант Освенцима, в начале января 1945 года милостиво удовлетворил просьбу Григола Перадзе, разрешив ему войти в газовую камеру вместо одного многодетного польского еврея.

— У тебя большая семья, жена, пятеро детей, — говорил Григол Перадзе своему соседу по нарам. — Ты ежедневно любишь чудом уцелевшей фотокарточкой, на которой они запечатлены. Война идет к концу, нам всем это хорошо известно. Ты должен жить, чтобы вновь встретиться с женой и детьми...

При этом Григол Перадзе наверняка не был уверен, встретится ли несчастный узник-еврей со своими родными и близкими, но он считал, что может дать ему шанс выжить.

Спустя пять минут после «удовлетворения просьбы» Григола Перадзе и его добровольного входа в газовую камеру врач — гауптштурмфюрер Богер Уленбрук бесстрастно зарегистрировал в книге жертв Освенцима смерть профессора Польского университета, грузина по национальности Григола Перадзе. Газ «Циклон-Б» действовал безотказно. Освенцим, в котором одновременно содержалось до 250 тысяч человек, установил своего рода «рекорд»: в течение суток в нем умерщвлялось до 20 тысяч человек. Трупы задушенных в восьми газовых камерах затем сжигались в печах крематория. Пепел Григола Перадзе был смешан с пеплом поляков и евреев, русских и французов, англичан и югославов, с пеплом более трех миллионов человек, которые за годы войны прошли через Освенцим.

...18 (31) августа 1899 года в селе Сакашети Горийского уезда, в семье священника Романоза Перадзе родился мальчик, которого окрестили Григолом (по данным польских архивов, Г. Перадзе родился в селе Бакурцихе Тигнахского уезда 13 сентября того же года). Отец его — Романоз Перадзе был высокообразованным для тех лет человеком, он окончил Горийскую духовную семинарию, где учился вместе с Важа Пшавела. Влияние Важа Пшавела, его любовь к родине, к ее свободе и независимости, к грузинскому народу, прославление свободного, раскрепощенного человека оставили заметный след в жизни и деятельности Романоза Перадзе. Он стал собирателем произведений грузинской народной поэзии и героического эпоса, ратовал за единство народа и церкви. По стопам отца пошел и сын.

Будучи учащимся начальной школы маленький Григол стал увлекаться поэзией, сам писал стихи. По свидетельству

друзей, первые поэтические произведения Перадзе были удачными и вполне совершенными по форме. Литературную деятельность продолжал он и поступив в Тбилисскую духовную семинарию, ректором которой был тогда Корнелий Кекелидзе. Первые свои стихи Григол Перадзе опубликовал в журналах «Джеджили» и «Накадули».

Позже, в более зрелых стихотворениях, публицистических произведениях, студенческих выступлениях Перадзе красной нитью проходит мысль о неприятии им общества с его бесчеловечными порядками, диктатурой власти и империи. Однако поначалу его бунтарство не имело прочной социальной основы. Цель, во имя которой нужно бороться, еще не была определена. После окончания семинарии юноша едет преподавателем в села Хандаки и Манави. Но здесь он задерживается ненадолго и, возвратившись в Тбилиси, примыкает к социал-демократам, активно выступает против самодержавной политики русской империи. Величие духа, нравственная стойкость, любовь к ближнему — в этих человеческих качествах Перадзе видел могучую силу воздействия на общественный прогресс. Осмысливая наше настоящее, задумываясь над теми проблемами, которые приходится решать нам сегодня, мы убеждаемся в прозорливости Григола Перадзе.

Большое влияние на Г. Перадзе оказали встречи и долгие, душевные беседы, несмотря на разницу в годах, с Нико Марром. Как он сам писал: «бывало, что мы сидели ночи напролет и беседовали о дальнейшей судьбе Грузии, ее языка».

В 1921 году, после окончания курса в Тбилисском университете, по рекомендациям Артура Лайста и Корнелия Кекелидзе, Перадзе едет в Германию для продолжения учебы. Цель была одна: вернуться после Германии на родину и поставить на службу грузинскому народу свои многосторонние знания. Но путь в Грузию был ему закрыт навсегда.

В 1926 году он завершает учебу на философском факультете Боннского университета в Германии. В том же году за научный труд «Начало рабовладения в Грузии» ему присваивают степень доктора философских наук. Чуть позже Григола Перадзе избирают приват-доцентом Боннского университета, где он читает лекции о древнегрузинской и древнеармянской литературах. Не оставляя работу в Боннском университете, Перадзе ездит по городам Германии, Австрии, Англии, Франции, Греции, Италии, Польши, Болгарии, Румынии, читая лекции, посвященные истории древней Грузии и Армении, процессам ломки феодальных устоев и возникновения буржу-

азных отношений в недрах феодального строя в Западной Европе 15—16 веков, научному методу в философии, влиянию церкви на философию. Он в совершенстве владел немецким, французским, английским, древним и новогреческим, латинским, еврейским, армянским, персидским, арабским, сирийским и другими языками, часто пользовался ими во время лекций, что делало их еще более популярными.

Григола Перадзе связывали дружеские отношения с такими известными учеными, поэтами, публицистами, как Петерс, Герхардт, Баумштадт, Поль Элюар, Мечислав Ястрон, а также с грузинскими эмигрантами — Эквтимэ Такаишвили, Михаилом Тархнишвили, Михаилом Церетели, Рафаэлем Ивановичем-Ингило, Зурабом Авалишвили, Георгием Гвазава, Калистратом Салия и другими.

В 1932 году по приглашению ученого Совета Оксфордского университета Григол Перадзе принимает руководство кафедрой на факультете православной теологии. Находясь за рубежом, он написал и опубликовал множество монографий, статей, исследований на грузинские темы. Наиболее известные из них «Послание святого Диониса греческим правителям и афонским епископам», «О неопубликованных стихах Бесики Габашвили из коллекции Уордропа», «Святой Георгий в грузинском народном творчестве (о происхождении грузинской нации)», «Проблемы древнегрузинской литературы», «Древнехристианская литература в грузинских переводах», «К вопросу о грузинских переводах Библии», «Проблемы древнего церковного писания», «К вопросам грузинской литературы до византийской эпохи», «Влияние грузинских элементов на народы Балканских стран» и многие другие.

Григол Перадзе внимательно следил за развитием грузинской литературы, пропагандировал за границей произведения грузинских поэтов и писателей, и особенно поэзию Галактиона Табидзе, которого считал величайшим поэтом современности.

В библиотеках греческого патриархального собора Григол Перадзе обнаружил 162 древние грузинские рукописи, в польских православных монастырях — исторические, палеографические и археологические материалы, связанные с Грузией.

Известен Григол Перадзе и как редактор — издатель журналов «Джвари вазиса» и «Патроложин» (на польском языке). Долгие годы он служил в грузинской церкви святого Георгия в Париже, редактировал издания этой церкви, а с

1928 года носил сан архимандрита. Шедевром творчества Перадзе можно назвать его перевод «Песни песней» с древнееврейского языка на грузинский. Им же были переведены с грузинского на английский язык труды Корнелия Кекелидзе, Эквтимэ Такаишвили и других ученых. С Эквтимэ Такаишвили его связывала крепкая многолетняя дружба. Он помог ему собрать, систематизировать грузинские национальные реликвии, вывезенные во Францию в 1921 году.

Отдельные советские горе-идеологи много потрудились для того, чтобы исказить истинный смысл творческой деятельности Григола Перадзе. Его старались предать забвению, поступаемая в Грузию информация о его жизни и деятельности была односторонней, зачастую не доходила до широких масс, а если и доходила, то в крайне искаженном виде.

Вторая мировая война застала Григола Перадзе в Польше, и он, профессор Варшавского университета, архимандрит, интеллигент до мозга костей, не смог оказать сопротивление коричневой чуме, попал в плен, перенес допросы в гестапо, пытки в тюрьме, мучения в бараках Освенцима. К чести Григола Перадзе он не предал своих идеалов, не изменил своему народу, не покорился фашизму.

Имя Григола Перадзе увековечено на мемориальной доске перед входом в Варшавский университет. В Грузии этого имени не встретишь нигде, ни в одной из библиотек. А жаль!..



Этери ГУГУШВИЛИ

## МУЖЕСТВО И ДЕРЗНОВЕНИЕ

### Герои Руставели на балетной сцене

Бессмертное творение Руставели увидело свет рампы. Впервые в нашей стране предстали ожившие на балетной сцене герои поэмы, с которыми на протяжении веков грузинский народ связывал свои лучшие представления о жизни, надежде, чаяния, мечты.

Трудно переоценить значение свершившегося факта. Здесь многое соединилось — почтительное, уважительное отношение наших ленинградских друзей к культуре Грузии, к богатым многовековым традициям ее народа, к истокам давних и прочных связей деятелей культуры Грузии и Ленинграда, воплотившихся в именах Джорджа Баланчина и Андрея Баланчивадзе, Вахтанга Чабукиани, Елены Чикваидзе и Татьяны Вечесловой, Евгения Микеладзе и Солико Вирсаладзе, Бориса Арапова, Петра Рязанова, Георгия Алексидзе, многих других.

Прикосновение к поэме, этой святыне грузинского народа, заведомо накладывало особую, я бы сказала, небывалую ответственность на тех, кто на подобный шаг отважился. Именно отважился, потому что в попытке создателей балета изначально заложены мужество и дерзновение. Связаны они не только с самоотверженным трудом (это, как говорится, само собой понятно), но и с известным риском. Ибо те, кто задумали интерпретировать «Витязя в тигровой шкуре», переве-

дя его в иной жанр, заведомо обрекали себя на множество сложностей, даже бед. Само прикосновение к поэме иным могло показаться кощунством, святотатством. Будь то не Руставели, а какой-либо другой автор, наверное, такого ощущения не было бы и в помине. Но Руставели! «Витязь в тигровой шкуре»! Здесь все иначе. Иные подходы, иное, благоговейное отношение, иные подступы, иные «измерения». Надо знать меру этим «измерениям», чтобы понять суть вопроса, а потому прямо пропорционально и меру взятой на себя ответственности.

Но балет создан. Создан не в Грузии, а на русской сцене. Прославленный в веках и на века петербургский балет взял на себя сложную миссию интерпретатора поэмы — этой частицы грузинского солнца. Нам, кроме спасибо, нечего сказать. И еще добавить слова укора своим соотечественникам из балетного мира.

Выше я употребила слово жертвенность. Пусть не покажется оно странным. Смысл его можно представить вполне отчетливо, если понять, что воплощение поэмы в условиях сцены, да еще балетной, не обещало однозначного и неременного положительного исхода. Ведь здесь, именно здесь, в контексте «поэма—балет», уходит, исчезает главное, чем велико само творение Руставели — слово, поэтическое слово. Как, чем заменить его, что сделать, чтобы замена стала адекватной его божественной силе, в каком облики сохранить весомость, мудрость, духовную и поэтическую мощь первоисточника, как, наконец, в неимоверно сложной лепке новой «фактуры» произведения не растерять в пути ее жемчужины?

Вопросы не праздные, они вытекают из многовекового народного знания, из логики привычки народа, которая стала частью его жизни, из его абсолютного слияния с поистине необъятным миром несметного духовного богатства, которое несет в себе детище Руставели. И как бы ни сокрушалось народное сердце и народное сознание, растерять все это несметное богатство все равно придется. Потерь не избежать, не избежать и вполне естественно вытекающего отсюда чувства не полной удовлетворенности, а порой и досады. При любом, самом положительном, исходе создатели балета неминуемо попадают «под обстрел» публики. Возникают неумолимо бескомпромиссные сравнения, рождаются претензии в обеднении действенной канвы произведения, в неполном схвате событий, действующих лиц, в несерьезности отношения

к материалу, даже в непонимании сути и смысла его. Народ становится строгим и беспощадным судьей, оценки его бескомпромиссны. Пристрастие оценок и неизбежные сравнения с первоисточником, «жадность» читателя по отношению к литературному материалу правомерны и вполне объяснимы.

Но отойдем от эмоций и постараемся занять не столько профессиональную, сколько попросту объективную позицию. Согласимся, что балетный театр в своих исканиях еще не знал такого сложного по своей фактуре сплетения философского, этнического, политического, исторического, событийного, географического и многих других пластов. Поэтому не удивительно, что создателям не под силу было расположить его в художественной последовательности и стройности. Более того, такой задачи театр перед собой и не ставил. Разумеется, в либретто, в музыку, в хореографический замысел и его воплощение многое из поэмы не вошло, многое осталось за пределами не только внимания создателей балета, но и их возможностей. Не станем перечислять все те конкретные моменты — сюжетные, текстуальные, концептуальные, которые не увидели света ramпы. Спектакль Олега Виноградова — не инсценировка в обычном понимании этого слова. В балете «инсценировок» не бывает и быть не может. Здесь происходит нечто иное. Высказанная азбучная мысль адресуется, естественно, не к профессионалам-специалистам, а к широкому кругу читателей, к зрителю, ко всем почитателям искусства балета, а также к тем, кто с ним не в ладу. Синтез поэзии, музыки, танца, других выразительных компонентов родившегося вновь произведения, предполагает его качественно новое обличье по сравнению с первоисточником, иную «фактуру», иные, специфические художественные средства, в которых возможно и должно передать дыхание произведения, его образ, его мудрость, быть может даже скорее его «абстракцию», «аналогию», нежели дотошную подробность. Но эти качественно и «фактурно» новые художественные средства должны быть адекватными духу первоисточника, его концепции, национальным корням и лишь отсюда рожденному его общечеловеческому звучанию.

Автор либретто крупнейший советский балетмейстер Юрий Григорович (несмотря на мое участие в полемике на страницах «Огонька» вокруг балета Большого театра и ряд критических замечаний, высказанных в адрес балетмейстера, я отношусь к нему с глубоким уважением и не перестаю восхи-



щаться его балетными опусами, такими, как «Спартак», «Каменный цветок», «Иван Грозный», многие другие), разумеется, учитывая все сложности, прекрасно знал, «на что он руку поднимал». Работа над либретто, надо полагать, шла в тесном содружестве с композитором. В процессе работы, безусловно, присутствовало и его собственное, балетмейстерское видение — насколько мне известно, Юрий Николаевич сам собирался ставить этот балет. Что-то, очевидно, помешало ему осуществить свои намерения. И балетмейстер остался в сценической судьбе «Витязя» лишь в роли автора либретто.

Содружество композитора и либреттиста проявляет себя на каждом шагу. Происходит их единение, взаимопроникновение, полная согласованность действий (ниже мы увидим, что согласие и согласованность в создании балета в равной степени распространяются и на балетмейстера, и на дирижера, и на художника). В плане слияния всех компонентов спектакля балет «Витязь в тигровой шкуре» на ленинградской сцене — образец единства позиции его создателей и участников. Гармония, синтез их — безупречны. Поистине трудно, почти невозможно назвать «ведущего», инициатора этого единства. Все они тесно спаяны, неотделимы друг от друга.

Алексей Мачавариани — замечательный грузинский композитор, имя его широко известно за пределами Грузии и страны. Правда, сегодня для многих в нашей республике эта известность за пределами страны не представляется притягательной. Упреки щедро сыпятся на многих наших видных деятелей, которые стали известны за рубежом. Достается Отару Иоселиани, Роберту Стуруа, Джансугу Кахидзе, Лиане Исакадзе (по-моему, еще не добрались до Пааты Бурчуладзе), другим. Справедливо ли это? Здесь не место обсуждать эту проблему, затем лишь, что только тот, кто не понимает цену такой известности (в ней, прежде всего — пропаганда, демонстрация лучших достижений многовековой и современной грузинской культуры, признание этой культуры), может утверждать подобное.

Итак, А. Мачавариани снискал себе всемирную известность, не перестав от этого быть грузинским композитором. Я люблю его как личность, люблю его музыку, сугубо национальную по колориту, певучую и экспрессивную, темпераментную и мощную.

А. Мачавариани много лет работал над созданием своего

нового произведения, вынашивал свою мечту. Музыка балета сложна, не всегда доступна пониманию с первого раза. Мне лично, не музыканту в «чистом виде», было нелегко в нее проникнуть сразу после первого прослушивания, еще в Ленинграде. Понадобилось время для осмысления. Музыка свойственна изменчивость звучаний и ритмов, оркестровое разнообразие. Порой все эти признаки собраны воедино, использован их синтез, порой происходит стремительная смена одного — другим. Взять хотя бы начало спектакля, его первые музыкальные такты: звук колокола сменяет тревожный шаг ударных и духовых инструментов, словно предвещающих что-то недоброе. Музыкальные комбинации построены на синтезе мелодических крайностей. Чисто грузинские мелодии ненавязчиво и органично сплетаются с звучаниями, рожденными современной музыкальной образностью. В то же время интонации грузинского криманчули, средневековые хоральные песнопения, фольклорные звучания соединяются с некоторыми самозаимствованиями композитора (романс «Солнцеликая», особенно прозвучавший в эпилоге в соло виолончели). Однако, несмотря на органичное переплетение элементов современных музыкальных звучаний с грузинскими напевами, мне лично в балете на тему «Витязя в тигровой шкуре» ближе представляется грузинское музыкальное обрамление, нежели его противоположность. Тем более, что именно эти национальные звучания предстают прекрасным контрастом шумным и порой дисгармоничным комбинациям, созданным как дань новаторскому осмыслению. Мне даже где-то показалось, что композитор порой изменяет себе, насильно «ломает» свою природу. Впрочем, к этому спорному положению, высказанному мной, существует и другой подход: не стоять же композитору на месте. Жизнь, движение, дыхание современности и современной музыки диктуют и ему свои законы, и он идет им навстречу. Но мнение свое я все же высказала. Тем более, что связано оно во многом с общим концептуальным решением балета, с подходом его создателей к теме и желанием раскрыть в ней некоторые «обобщающие» мотивы.

Я беру это слово в кавычки потому, что приемы, к которым прибегают создатели балета, не только обобщают проблемы, но, обобщая, членят их на две противоположные ипостаси. Позиция авторов выражена вполне отчетливо: противоположности все время находятся в состоянии единоборства. Белое и черное, добро и зло, любовь и ненависть, чело-

вечность и вероломство. Откровение позиции придает зрелищу оттенок некоторого «схематизма». В заданную «схему», в сущности, посажено действие, в котором в итоге побеждает высочайший профессионализм создателей и исполнителей балета, их мастерство, талант, влюбленность в материал, одержимость.

И еще об «обобщениях». В поэме использован географический шифр, который следует принимать именно как шифр, а не как прямое, зеркальное отображение места действия. Широта географических просторов, на которых происходят события поэмы (Аравия, Индия и т. д.), отнюдь не препятствует тому, чтобы понять, что произведение родилось именно в Грузии, что грузин Руставели писал о Грузии, о ее народе и ее проблемах. В поэме просматриваются конкретные прототипы эпохи, в которую жил поэт.

Да, национальные корни произведения определены и точны. Но именно потому, что масштабы его предельно широки, а проблемы, в нем поднятые, носят глобальный характер, оно обретает свое обобщение, общечеловеческое значение.

Последнее, однако, вовсе не означает, что при воссоздании сценического образа поэмы не следует учитывать ее национальных корней. Честно говоря, меня удивила мысль, высказанная нашим талантливым соотечественником, художником Т. Мурванидзе: «Я хотел создать обобщающий образ спектакля, не имеющий определенного адреса». Почему? — хочется задать ему вопрос. Художник лучше других своих русских коллег должен знать этот **определенный** адрес поэмы. Знать, где следует искать к нему подступы. В его поистине блестящей, изысканной по фантазии и вкусу работе есть тенденция показать не Грузию конкретно, а Восток вообще. Налет некоторого ориентализма живет в спектакле. Это проявляется не только в работе художника, но и в танцевальной лексике. Нет, я вовсе не ратую за то, чтобы непременно были поставлены только грузинские танцы — лезгинка, лекури, перхули, картули. Но лексический строй танца, движений, должен так или иначе учитывать характер грузинской пластики, ее исконные, а не заимствованные с «Востока» вообще танцевальные традиции.

К сожалению, в спектакле это порой ощущается. Примеры? Да вот, хотя бы один. В хореографической лексике большое место обретают сплетенные тела. Балетмейстер выстраивает дуэтные танцы, используя в основном это сплетение.

На протяжении всего спектакля у меня много раз возникали в памяти известные строки великого Поэта: «Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье»...

Ассоциация странная и, конечно, случайная. Ее не следует воспринимать как прямую параллель с балетом, тем более, что сказано это Поэтом совершенно по другому поводу. А здесь скрещенье — сплетенье вызывает в душе неловкость. Есть что-то «приторно-плотское» в этом скрещенье ног, рук, тел. Наверное, в балете иного названия, иной фактуры и стилистического настроения, такое скрещенье-сплетенье нашло бы свое оправдание и было бы вполне уместно. Но Руставели и его герои несовместимы даже с малейшим намеком на эротическое начало. Оно противопоказано их природе.

А тут еще костюм-трико, который «усиливает» возникшие ощущения и никак не способствует восприятию прозрачной, кристальной чистоты героини. Прекрасно решенный в цвете костюм сам по себе рождает ощущение точности понимания художником его смыслового посыла. На белом фоне — черные пятна-блики, словно напоминающие облик тигровой шкуры. Но воля балетмейстера обратила эти удачно найденные сочетания цветов на службу костюму-трико, никак не согласовывающемуся с самой сутью образа героини и, кстати, всех других женских образов. Когда-то Баланчин признавался, что он облачил своих танцовщиц в трико не от хорошей жизни, а лишь из-за финансовых затруднений, и уж никак не по зову сердца...

Коль скоро речь зашла о костюмах, хотелось бы отметить в их создании поистине виртуозную работу художника. Богатство цветовой гаммы, сочетание в ней контрастных бликов, причудливых несоответствий вовсе не свидетельствует о пестроте и аляповатости красок. Напротив, как бы наперекор логике, разнообразие цветов, в которых пастельные тона сосуществуют с яркими и броскими мазками, соседствуют с черно-бело-красной тональностью, рождают адекватную замыслу изобразительную гармонию.

Обратимся, однако, к хореографии, а, если удастся, проследим ее по сценам, естественно, по узловым. Это необходимо не только для тех, кто спектакля не видел, но и для истории балета, в том числе и грузинского, поскольку постановка осуществлена на грузинском материале, а это значит, что она в равной мере принадлежит и истории грузинского хореографи-

ческого искусства. Тем более, что среди его создателей три представителя Грузии.

...На сцене полумрак. Уже прсзвучали звуки колокола тревожно отшумели ударные и из темноты возникает статуарная группа юношей и среди них — Тариэл. Такая же группа в аналогичном пластическом выражении появляется рядом, но теперь это девушки, и среди них — Нестан-Дареджан. Танцевальные движения, пластический образ обеих групп идентичны. Постановщик в прологе дает внушительную заявку: оба героя и их окружение охвачены единым порывом, здесь нет дисгармонии чувств, царит душевный покой, родство душ и поэтическое единение. Хореографическая метафора достаточно красочно и образно свидетельствует о прочности позиции героев, о прочности их чувств. Исполнители главных партий Т. Арискина (Нестан-Дареджан) и Э. Алиев (Тариэл) прекрасно владеют поставленной перед ними задачей. Полетность движений сосуществует со скульптурной статуарностью, свойственной групповым сценам в прологе. Следующее за ними эмоциональное адажио двух героев является как бы прологом и для всей танцевальной лексики балета по группе «светлых» добрых сил. Полетность понимается в балете не отвлеченно, а в конкретном видении образа, в тесном с ним единстве. Полетность — не только в высоких, невесомых прыжках, но и в постановке рук, всего корпуса. Словно две сплетенные между собой летящие птицы, застыли в финале своего дуэта Т. Арискина и Э. Алиев. Словно зловещая птица распахнул свои руки-крылья царевич каджей над поникшей на коленях Нестан-Дареджан. Все это продумано до мельчайших деталей, «сцементировано» четким и точным балетмейстерским видением и логикой действия, им и его коллегами сочиненными. А в целом и полетные движения, и прыжки, и другие танцевальные комбинации (верчения, поддержки, движения по кругу и т. д.) прочитываются балетмейстером в соответствии с содержательной сутью каждого образа. Каждому, как говорится, свое. Отсюда — постоянная смена полярных находок. Идет подлинное состязание танцем. Динамика его меняется мгновенно, а вместе с ней резко меняется и действие. Теперь в него активно вступают темные, злые силы каджей. Начинается ожесточенное единоборство противоположностей. На сцене, как «обобщение», как эмблема эпохи возникает опромное, мощное по своей фактуре, великолепное панно, отмеченное небывало дерзким по силе раз-

махом эмоций художника Т. Мурванидзе. На фоне панно «крупным планом» будут разыгрываться душераздирающие сцены любви и коварства, жизни и смерти.

Бездыханная лежит на полу Нестан-Дареджан. Сочувствием, поддержкой ей выглядит танец подружек, который сменяется выходом отца героини — царя Фарсадана (А. Крутов). Резкие, угловатые движения царя отчетливо свидетельствуют о его намерениях. Ответный танцевальный монолог героини исполнен мольбы, протеста и душевных страданий. Контрастным по отношению к ним выглядит выход царевича каджей. В исполнении артиста С. Вихарева есть что-то чертовское, адское. Красное одеяние, резкие, размашистые, «колючие» движения, экспрессия в высоких прыжках, стремительность реакций резко контрастируют с плавной напевностью скользящих танцевальных линий Нестан-Дареджан — Т. Арискиной.

Не могу не сказать и о Г. Мезенцевой в образе Нестан-Дареджан, которую я видела значительно раньше, еще в Ленинграде. Трудно сейчас полностью восстановить в дегалях ее исполнение, но память сохранила образ волевой, сильной духом личности, в которой живут ожесточение против сил, препятствующих ее счастью, минуты трагического отчаяния. Воображение рисует образ тигрицы, готовой вступить в борьбу, а это немаловажно для концепции самой поэмы.

Как уже отмечено, фантазия создателей балета допускает явные отступления от сюжетного стержня произведения. Балетному театру такие отступления привычны. Так возникает сцена пиршества. Пир, как обычно, — повод для дивертисментных чередований танца. Целая вереница танцевальных комбинаций сменяет друг друга. «Срабатывает» безошибочный эффект контраста. Бесшабашная неумолимая стихия верховодит танцами каджей и каджетских девушек и явно оттеняет прекрасный танец витязей с белой фатой Нестан-Дареджан, вариацию самой Нестан-Дареджан, дуэт Нестан-Дареджан и Тариэла. От всех этих танцев веет духовностью, легкой и светлой надеждой, такой же легкой и светлой, как фата невесты.

Но действие движется вперед, происходит быстрая смена ситуаций. Теперь в движениях Нестан-Дареджан появилась тревога, нервозность, смятение, страх, ожесточение. Динамичны моменты, когда героиня попеременно переходит из цепких рук каджей в объятия Тариэла, а затем снова оказывается разлученной с любимым. Белая фата невесты, символ чистоты, непорочности, святости чувств, переходит из рук в руки

и, наконец, оказывается брошенной наземь. Так вступает в свои права трагедия влюбленных. А когда опустится прозрачный черный занавес и как бы «отсечет» на время героев поэмы от страшного, черного мира каджей, начинается плавный, полный томления танцевальный дуэт героев. В либретто сказано: «Она его упрекает». На сцене этого нет — скорее молит, ласкает, заверяет в своей любви. И снова — причудливая комбинация скрещенных рук и ног, в ее, я бы сказала, усложненном выражении. Теперь Нестан-Дареджан словно заплетается в его руках и ногах, затем переступает через свою, скрещенную с рукой Тариэла, руку. Эта поистине сверхсложная комбинация, надо полагать, знаменует собой сложность продвижения персонажей к заветной цели. По странной ассоциации она напоминает своеобразный «лабиринт», в котором все запутано и словно нет и не может быть из него выхода.

Первый акт завершается смертью царевича каджей и бурным монологом Тариэла — Э. Аляева, исполненного экспрессии, «взрывных» движений, знаменующих готовность героя к борьбе.

Второй акт не представляет каких-либо новшеств в чисто хореографическом плане. Лексика танца, как таковая, остается неизменной, язык и буква танца не обновляются. Неизменной остается и позиция режиссуры. Та же определенность в членении действующих в балете сил, то же противопоставление, угрожающее повторами.

Начинается этот акт письмом Нестан-Дареджан, воплотившемся в трагический по своему настрою вокализ. Душераздирающий голос (альт-меццо) надрывно оплакивает ее судьбу. Нет, это сама героиня оплакивает свою судьбу. Околдованная каджами, она потеряла человеческий облик. Вместо плавных и стройных пассажей, вместо певучей кантиленности движений появились угловатость, резкость поз, колючесть повадок, ожесточение в глазах. Нет в ней прежней легкости, трепетных порывов. Живописная, но страшная по смыслу пантомимическая сцена запечатлела распятые руки героини, которые возникают словно символ горя, страданий, безысходной тоски. Трагический плач-монолог идет на фоне поверженного царевича каджей.

Тоска и безысходность звучат и в бравурном монологе Тариэла. Здесь есть чему раскрыться для танцовщика, есть что высказать в решительных и резких прыжках, во вскинутых в мольбе руках, в стремительных, ожесточенных движениях.

Во втором акте вступают в действие Автандил (Е. Нефф) и Тинатин (Е. Евтеева). Костюмы, движения, повадки, пластика этой пары вполне согласовываются с изобразительными и выразительными средствами первой пары. Режиссер-балетмейстер подчеркивает и тут идею их единения, общности устремлений, верности общему долгу. Музыка, сопровождающая дуэт Автандила и Тинатин, просветленная, бодрая, призывная, даже торжественная.

Запоминается в этом акте сцена «Видения влюбленных». Это — танец-квартет. В нем участвуют все четыре героя. Хореограф подает их танец крупно и внушительно. Статная и бравая выправка, отточенная поступь, экспрессия мужской половины квартета легко сочетается с лирической плавностью, легкостью, мягкой и сдержанной эмоциональностью женской пары.

Танец выстроен синхронно, и каждый из исполнителей обнаруживает четкость и слаженность движений. Он задуман как воспоминание, поэтому очень важно сохранить при исполнении не только эфемерность, призрачную суть и очарование мечты, но не забыть и о том, что это реальный танец, требующий к себе серьезного отношения.

От мягкой лирической сцены воспоминаний балетмейстер переходит к экспрессивному дуэту Автандила и Тариэла. Это — сцена клятвы. Начинается она на лирической, романтической ноте с внесением светского элемента (охота). Затем мягко и плавно вступает интонация «Лиле» (восход солнца), которая незаметно подготавливает полное единение героев. Происходит слияние их человеческих чувств, душевного настроения, что отчетливо запечатлевается в их слаженном и стройном дуэте. Сцена, которая началась со струнных, с постепенным подключением других инструментов, теперь завершается мощным звучанием всего оркестра, которым вдохновенно, темпераментно, с глубоким проникновением в сложную партитуру балета дирижирует молодой Вахтанг Мачавариани. Мне радостно видеть Вахтанга за пультом в столь серьезном испытании. Я наблюдала за ним на одном спектакле из боковой ложи. Он сосредоточен, собран, живет музыкой, чувствует ее нюансы, умеет их осмыслить.

...Фанфары возвещают о начале боя за спасение Нестандареджан. Картина боя насыщена множеством ритмов, множеством мелодических оттенков. Эту сцену, вероятно, надо считать кульминацией балета. Здесь ожесточение борющихся сил доходит до высшей точки. Создается полная иллюзия, что



нападающая сторона топчет тела врагов. Это очень впечатляет. Средства двигательной выразительности, найденные балетмейстером, создают динамичную картину боя не на жизнь, а на смерть. Впрочем, кульминация впереди. Она предстает в финальной сцене — «Возвращение к жизни», ставшей апофеозом любви и победы.

\* \* \*

Балетом «Витязь в тигровой шкуре» театр намеревался завершить свои гастроли в нашем городе. Это было 13 октября прошлого года, трагический день на грузинской земле. Спектакль отменили. Коллектив театра вместе со всем народом Грузии почтил память безвременно ушедшего от нас национального героя — Мераба Костава. Это явилось еще одним подтверждением того уважения, которое всегда определяло взаимоотношения деятелей культуры Грузии и города на Неве.



Михаил ГИЖИМКРЕЛИ

# КОММУНИКАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПЛАНЕТЫ

(ЗАМЕТКИ РЕЖИССЕРА)

**Н**Е раз приходилось вдумываться в слова, по воле сложившейся установки скрывающие от нас свой сокровенный смысл.

Вот одно из них: радуга... Прекрасное, я бы даже сказал, волшебное русское слово. Но попробуйте перевести самую сердцевину смысла, берущую свое начало от **радости**, понимаемой как **многоцветие**, притом не хаотичное, случайное, а воссозданное **гармонией** небесного спектра — этой основы науки **цветоведения**.

Такое светлое русское слово перевести на любой язык, конечно же, возможно, но при всем старании полнота, а точнее красота содержания окажется видоизмененной.

Манящую «прелесть непереводаемости» таит в себе и японское слово — «икэбана».

Автор книги «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников проверял: для японского понятия «икэбана» ни в одном другом языке до сих пор не найдено точного перевода.

Принятое на Западе выражение «аранжировка цветов», так же как и русское определение «искусство составления букетов», не раскрывают сути «икэбаны» как одного из видов ваяния.

Иногда иероглифы икэ-бана дословно переводят как «живые» или как «цветы, которые живут», но и это толкование нельзя назвать исчерпывающим, ибо первый слог «икэ» не

только означает «жить», но и является формой глагола «ика-су», которая означает «оживлять», и противоположен по смыслу глаголу «подавлять». Поэтому «икэбану» можно перевести как «помочь цветам проявить себя».

Существеннейшее уточнение, глубинное постижение важной подробности.

И не в подобных ли уточнениях и постижениях обретет свою надежность коммуникационная служба нашей планеты.

Истинного величия человек достигает пониманием не своего, не близкого, другого, чужого. Неодолимая потребность приобщения к ранее не известным ценностям возносит его к подлинным высотам гуманизма, откуда только и открывается близость неблизкого, самоценность несхожего.

Общительность — категория историческая, выявляющая диалектическую взаимосвязь обстоятельства, времени, места.

Примеры, почерпнутые из литературы и искусства, в частности из театра, отличаются выгодной наглядностью. Спектакль, о котором пойдет речь, не нов и уже апробирован, однако таит в себе информацию, существенную в свете требований, выдвигаемых временем.

Впервые ознакомив советского зрителя с творением классика японской драматургии Мондзаэмона Тикамацу — «Самоубийство влюбленных на острове «Небесных сетей», с произведением глубоко поэтичным и самобытным, марджановцы вызвали законный интерес тбилисской театральной общественности.

Режиссура Медин Кучухидзе, сценография Георгия Алекси-Месхишвили, исполнительская культура Нани Чиквинидзе и Реваза Чхиквишвили, Ведущего — Марлена Эгутна, ансамбля в целом одобрены высшими авторитетами классического японского театра. Президент Ассоциации японских актеров, член Академии искусств Японии, президент общества защиты традиции театра Кабуки Утаэмон Никомара Шестой вместе со своим сыном — продюсером театрального департамента Гомио Теракава, прибыв в столицу Грузии, с трогательной признательностью оценил «японский спектакль», созданный мастерами грузинской сцены.

И тем не менее хотелось бы отчетливее осознать наличие психологического фактора, определившего по существу известную ступенчатость развития культуры взаимоотношений.

Начнем с дилеммы: мог ли Тикамацу увидеть свое творение в Грузии? Впрочем, можно ли назвать дилеммой — бес-

спорное?.. Конечно же, нет. Настолько очевидна неодолимость параметров времени и пространства, не говоря о многом ином.

Однако при ближайшем рассмотрении не трудно прийти к выводу, что средства передвижения, всегда играющие не последнюю роль в человеческом общении, никогда не могли служить гарантом взаимопонимания.

Значение решающего фактора приобретала исторически складывающаяся обстановка, формировавшая предрасположенность к тем или иным явлениям.

Стабильность мирной ситуации, столь характерной для Японии XVII—XVIII веков, крайне отличалась от положения дел в Грузии того же периода.

Страна, покончившая с междоусобицей, ничем не напоминала Грузию, теснимую со всех сторон иноземными захватчиками.

Заботы людей, проживающих при таком изобилии риса, когда город Осака именовался «вселенской кухней», конечно же отличались от нужд народа, спасающего свое физическое существование.

Быт японских копьеносцев, сменивших свой ратный труд на постижение тайн чайных церемоний, выражающих поэтическую природу столь своеобразного этикета, был слишком далек от походной жизни дружинников Великого Моурави — Георгия Саакадзе, царей-полководцев Соломона и Ираклия, героев Марабды, Хресили, Крцаниси.

В годы отдаленного прошлого Иверии, когда кровь ее защитников лилась рекой и каждый оруженосец был на счету, самоубийство влюбленных, жертвой которых к тому же оказывались несчастные сиротки, естественно, не могли вызвать какого-либо сочувствия.

Пьеса с таким сюжетом в то время не могла быть поставлена у нас, ибо японская драма оказалась бы совершенно несовместимой с трагедией Грузии. И, конечно же, спектакль не мог осуществиться вовсе не потому, что не подоспел перевод, но по той причине, что не пришло еще время, предоставившее Грузии гарантию бытия, а профессору кафедры русского языка японского университета Фукаси Оотака любезную возможность тропою Пушкина взойти на холмы Грузии.

Подумаем только: какими вехами истории отмечены обстоятельства, предопределившие рождение самого понятия — японский грузиновед, в лице Сеничи Китагава, стажировавшегося в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР.

Вот почему творческий опыт первого воплощения шедевра японской драматургии на грузинской сцене сегодня воспринимается как еще один симптом движения колеса истории, столь привлекательной гранью повернувшего к нам героев драматической поэмы Тикамацу.

Теперь уже у благодарного грузинского зрителя наличествуют все возможности для того, чтобы с предельным вниманием вслушаться во все тонкости этой песни о любви и по достоинству оценить произведение японского классика, ожившее на сцене академического театра имени Котэ Марджанишвили. И при всей разнице проблем — социальных, бытовых, демографических — сочувственно и уважительно отнестись к народу, о котором, добросовестнейшим образом изучая Японию, советский журналист писал:

«Об этом соседнем народе наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины. Да и то плохое, что мы привыкли слышать о японцах, в целом соответствует действительности и нуждается скорее в объяснении, чем оправдании. Однако, если отрицательные черты японской природы известны нам процентов на девяносто, то положительные лишь процентов на десять. Приходится признать, что мы в долгу перед цветущей сакурой, которую японцы избрали символом своего национального характера».

Марджановцы внесли свою лепту в баланс взаимоотношения и культурного сотрудничества. К трассе японо-советских контактов был подключен и грузинский канал, открывшийся в Токио триумфальным успехом Ламары Чкония в партии Чио-Чио-сан; истинным улучшением культурного обмена явились постановки балетов, осуществленные Вахтангом Чабукиани силами японских коллег. Искренним дружелюбием и добротой веяло от песен Нани Брегвадзе, спетых замечательной певицей на далеких островах.

Страна Восходящего Солнца манила к себе. Живой интерес проявили к ней деятели русского театра. Чудотворец русской сцены Станиславский не ограничивался лишь сферой актерской профессии. Пристально изучая уникальную форму театра Кабуки, он учил людей постигать неповторимость природы восточного соседа.

Задолго до появления известных документов ЮНЕСКО Станиславского тревожила участь всей картины природы, увиденной глазами большого художника.

«Ныне я познал мудрость и остался с убеждением, что

только Разнообразие делает жизнь желанной», — писал один из лучших представителей классической литературы Нового Света Филипп Френо.

Однако первый американский национальный поэт, написавший слово «разнообразие» с большой буквы, подивился бы на беспардонность коммивояжеров заокеанских фирм, перебивших на свой лад культурные сокровища. Бизнесмены, принаравливаясь к современным формам, меняют тактику: не разрушая страну с воздуха, они обесцвечивают ее изнутри.

«Положение с национальными традициями в Японии, по моим наблюдениям, достаточно тревожное. Все явственнее становится стандартизация и американизация», — свидетельствовал дважды побывавший там Георгий Александрович Товстоногов.

Разделяя тревогу крупнейшего театрального деятеля нашей страны, нетрудно предположить, что сценический образ молодой, трепетной, обворожительной японки, воссозданный грузинской певицей, гастролировавшей в Токио двадцать лет назад, сегодня вряд ли тронул бы девиц, охваченных зудом американизации, в запальчивости прибегающих к услугам пластической хирургии, чтоб свое неповторимое естество обменять на тиражированные улыбки голливудских звезд.

К счастью, в Японии немало людей, умеющих беречь ценности, составляющие национальную гордость талантливейшего народа. Это и вселяет надежду, что ветка сакуры будет цвести и упрямым цветением своим образумит отступников.

«Мир спасет красота!» Но вспоминающим сегодня пророчество великого русского писателя хорошо известно, в какой степени необходима спасателям развитая мускулатура.

«Казалось бы так просто понять: мир — это благо... но за него надо бороться: повседневная активность каждого — залог спасения и развития человечества», — отвечал на призыв театральных деятелей Японии президент Советского центра международного института театра Михаил Царев.

В русле объединенных усилий всех творческих сил многонационального советского театра совершенствуют формы повседневной активности и труженики грузинской сцены.

Мир нужен всем! И не расфасованный на манер толстосумов и воротил, силящихся упаковать его в удручающе однообразные гигантские стеклянные параллелепипеды.

Живым нужен мир живой, многомерный, многообразный, богатый красками, переливающимися всеми цветами радуги.



## Свидетельство дружбы и братства

Вышла в свет на адыгейском языке бессмертная поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Поэму перевел известный адыгейский поэт Хамид Беретарь, отдавший этому благородному делу более двадцати лет. Опыт поэтического творчества, накопленный Хамидом Беретарем за тридцать лет (он — автор пятнадцати книг на родном языке), позволил ему совершить этот поистине подвижнический труд на высоком профессиональном уровне. Издание Адыгейским отделением Краснодарского книжного издательства на адыгейском языке шедевра грузинской литературы — поистине знаменательное событие в культурной жизни адыгейского народа.

Переводчик взял за основу подстрочный перевод поэмы С. Иорданишвили, художественные переводы Ш. Нуцубидзе и Н. Заболоцкого. Адыгейскому поэту удалось сохранить глубину идейно-философского содержания и художественную мощь поэмы, продемонстрировать возможности адыгейского стиха в освоении принципов грузинского «шаири». Самобытный слог и стиль великого Руставели сохранен в этом добротном переводе.

На адыгейском языке заговорили герои поэмы, самоотверженные борцы за справедливость и счастье, за братство, дружбу и любовь. Мотивы дружбы и братства разных народов, идея совместной борьбы ради победы справедливости, ради торжества добра над злом, в целом жизнеутверждающий пафос «Витязя в тигровой шкуре» сегодня очень современны, актуальны.

Глубокие философские мысли и поэтические чувства, выраженные в бессмертной поэме Шота Руставели, облагораживают и одухотворяют современника, ставящего превыше всего общечеловеческие гуманистические ценности, активно выступающего за свободу личности, за свободу мысли и чувства. Поистине пророчески звучат сегодня слова Руставели: «Кто друзей себе не ищет, самому себе он враг».

Но дружба и взаимопонимание народов, людей разных национальностей — не отвлеченное понятие. Они всегда выражаются в конкретных фактах, событиях. В данном случае фактом проявления братских чувств адыгов к грузинскому народу явился замечательный перевод Хамидом Беретарем поэмы Шота Руставели на адыгейский язык. Адыгейский поэт продемонстрировал в этом переводе не только возможности адыгейского стихосложения, но и духовную близость двух народов-братьев — адыгейского и грузинского. Данный перевод является мостом, соединяющим наши литературы, наши культуры.

Книга оформлена красочно, издана добротно. Художественное оформление и иллюстрации, принадлежащие известному адыгейскому художнику Феликсу Петувашу, передают национальный колорит произведения.

Адыгейские читатели получили замечательный подарок.

**Туркубий ЧАМОКОВ,**  
доктор филологических наук.





**Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ**

**Редакционная коллегия:**

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили  
Корректор Т. Бадриашвили

---

Сдано в набор 23.03.90 г. Подписано к печати 23.05.90 г.  
УЭ 07582. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская  
№ 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд.  
л. 14,0. Тираж 7.400. Заказ 708. Цена 65 коп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина, 14.

62/83



საქართველოს  
საქართველოს  
საქართველოს

65 კ.

ИНДЕКС 76117

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия», 1990 № 4. 1--224